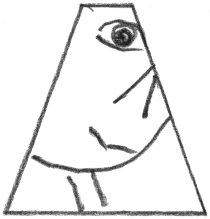

Алексей АФОНИН

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО

Москва
2010

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
А94

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц
Главный редактор серии Андрей Тавров

А94 **Алексей Афонин**
Очень страшное кино. — М. : «Русский Гулливер»/Центр современной литературы, 2010. — 138 с.

Поэзия Алексея Афонина обладает свойством открывать в знакомом и привычном мире двери, превращающие этот мир в реалистическое, но загадочное путешествие по сдвинутым пространствам и временам. «Новое кино» борхесовского типа с французской стилистикой заставляет читателя чувствовать себя не столько зрителем в зале, сколько героем на экране. Он оказывается там, где давно хотел бы побывать, но боялся, что это невозможно

ISBN 978-5-91627-046-4

© А. Афонин, 2010
© В. Месяц, предисловие, 2010
© Русский Гулливер, 2010
© Центр современной литературы, 2010

Алексей Афонин, поэт. Родился в 1990 г. в Петербурге.

Участник Шестого майского фестиваля новых поэтов (2007), XVI Фестиваля свободного стиха (2009), II Фестиваля университетской поэзии (2009). Публиковался на сайте «Полутона», в интернет-журналах TextOnly и «АльтерНация», сборнике университетской поэзии «День открытых окон - 3», журнале «Воздух».

Живет в Петербурге.

ГОРРР, ПТИЦА ЛОВЧАЯ

Не знаю, существует ли поэзия, равнодушная к теме смерти: в основном она играет именно с этой сущностью, и насколько тонка эта игра, настолько жизненна та или иная поэзия. На каком-то этапе просветления игры можно избежать (выйти из игры) и достичь ясности (удивительно редкое качество), но это уже для — религии или философии. Поэзия лишь намекает на близкое соседство с небытием, на постоянное его присутствие за плечом, в глубине темного подъезда, под кроватью или под сердцем, но все-таки не переступает через некую светскую грань, находя спасение в интонации, в образности, в музыке. «Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое темный ужас начинателя игры...» *Кто этот «начинатель», кстати? Разве сочинитель? Разве только сочинитель?*

Книга Алексея Афонина, которую вы держите сейчас в руках, проникнута этим «темным ужасом», подернута его холодком, щемящим, настоящим. Этот голос, как бы нашептывающий полудетские мантры, свидетельства о невидимом и предметном мирах, пытается заговорить что-то страшное и неизбежное: может быть, если вербализовать очертания ужаса, он исчезнет. «Произнесенное молчание: есть, без я.» *В прологе к* «Самому страшному кино» *автор пытается выделить генезис этого экзистенциального страха, несколько раз обозначая его в нашем недавнем прошлом:* «осокой блокадного злого болота наследия чёрных подъездов, которые помнят...», «подстаканники древних известий...», «извёсточным крошевом вальса, который когда-то...», «чёрно-белая хроника: нескончаемый город...», «дождь стеливший... в память из библиотек...», «ты картография прошедших...», «а тебе здесь жить... играя со страшным, с черным...» *Не думаю, что главную тяжесть несет в себе именно «картография прошедших, их пятна весёлые трупные пятна жирафьи, окопные пятна». Чужая жизнь может довлеть, но тень реального каземата все равно только в тебе самом, так что «страшное и черное» - из другого, более сокровенного ряда. О нем не очень принято (и трудно) говорить — отсюда множество внешних отсылок, да и в самом названии книги слышна простодушная ирония — «самое страшное кино» рано или поздно кончается: отмелькают кадры, отпиликает фортепьянка... Выйдешь на свет и вот уже:*

«...ничуть не жалея о том,
убежавший и спасшийся атом,

по аллее гуляет пустой
и честит непохожего братом».

Афонин внимателен к непохожему и чужому, такое происходит обычно, когда ты более-менее знаком с самим собой. Он неравнодушен к деталям, их размещению во времени и пространстве, присматривается, ощупывает, словно бы проверяет, кто еще жив, а кто уже нет. И догадывается, что иногда это проверить невозможно.

«Спаниель кудлатый, ещё завой.
Ну, идиот, ну, чуть-чуть недоверил в чудо..
Я тебя напишу, напишу и забуду.

...Просто слишком страшно, что ты живой».

Определение жизни — скользкая штука, органические и неорганические ее формы — лишь химия; первобытный анимизм, одухотворяющий и дерево, и камень, никуда не исчез, если мы воспринимаем жизнь, как чудо. И к различным проявлениям этого чуда автор и обращается, обнаруживая его в криках чаек на свалках, дрожащем мареве Исаакиевского собора, в детях и зверях, выходящих из зеркал, огромных как ветер, в иномирном одеяле Старшей Эдды, фиолетовых маяках пространства... «Чтоб Вечность пристально погладила тебя». *И все равно в конце концов все это цветастое и цветущее многообразие сворачивается, сжимается в точку.*

«вся
эта карусель, как зонт у фокусника, вращаясь, постепенно

иссякает, уходит;
и остаются

нам - только голуби, воркующие в винограде.
Обрывки солнца, переливающиеся в воде».

Я помню свой детский сон с толстыми спиралями галактик в клубах дыма, кусках мяса и пыльных тряпок, что-то огромное, безмолвное, величественное, и потом сворачивающееся до уровня какой-то ржавой писчебумажной скрепки. Это был страшный сон, я это помню, хотя не видел его уже лет сорок. Страшный — именно из-за этой скрепки. Я уверен, что в личной биографии каждого подобные сны — общее место: воспоминание о до-бытии, о предыдущем воплощении. Более подробные иллюстрации можно найти в «Бардо Тхёдол», *важнее — истинность, даже физиологичность ощущения.*

Гарсиа Лорка для описания этого чувства говорит о дуэнде. «Дуэнде не в горле, это приходит изнутри, от самых подошв... дело не в таланте, а в

сопричастности, в крови, иными словами — в древнейшей культуре, в даре творчества... таинственная эта сила, "которую все чувствуют и ни один философ не объяснит", — дух земли... не путайте дуэнде с теологическим бесом сомненья... католическим дьяволом... Каждый человек, каждый художник (будь то Ницше или Сезанн) одолевает новую ступеньку совершенства в единоборстве с дуэнде. Не с ангелом, как нас учили, и не с музой, а с дуэнде... Его надо будить самому, в тайниках крови... отстранить ангела, отшвырнуть музу... Приближение дуэнде знаменует ломку канона и небывалую, немыслимую свежесть - оно, как расцветшая роза, подобно чуду и будит почти религиозный восторг... Если свобода достигнута, узнают ее сразу и все: посвященный — по властному преображению расхожей темы, посторонний — по какой-то необъяснимой подлинности».

«Страшное кино» *Афонина разворачивается вокруг подобного зияния, неважно сколько раз было сказано слово «страшно» (можно было сказать «смешно»), важно, что отголоски этого страха передаются читателю: этот страх есть во всех живых, мы им объединены в большей степени, чем любовью и товарообменом. Наверное, мы и говорим так много, чтобы слова потеряли смысл, чтобы остаться наедине с врожденной внутренней пустотой, или заговорить более правильным интуитивным языком, без всяких неологизмов, а* «чем случайней, тем верней»*:*

«сжимай в ладони свой йхоло,
холотропной вселенной юбилейную монетку, подъязычно, как камешек,
помогающий говорить,

ибо горрр, птица ловчая, поселился в горрртани».

Птица Горр... Ловчая птица Горр... Андрей Тавров называет ее хрусталем в горле, битым стеклом... эта горечь и определяет голос поэта Алексея Афонина.

Большинство текстов написаны верлибром, с небольшими фрагментами рифмовок, иногда метризованы, иногда не очень — в меру свободы, в меру дисциплины — вполне в духе времени. Другое дело, что энергетика этих стихов разительно отличается от многого написанного по-русски в этой традиции: тексты не рассыпаются, иногда даже поются. Поначалу я не мог объяснить себе этого явления: чисто внешне — фрагментарный стих, для абсолютного большинства авторов подтверждающий не только дань моде, но и бесплодную расщепленность сознания, которую по непонятным мне причинам стало модно выставлять напоказ. Секрет цельности стихов Афонина можно объяснить внутренней музыкальностью, равной, по существу, семантике, абсолютным слухом — не удивлюсь, если автор имеет музыкальное образование. Читая эти стихи, я вспомнил любопытное наблюдение Т. В. Балашовой, разбирающей поэтику Робера Десноса в критическом сборнике «Французская поэзия 20 века. М.: Наука 1982».

«Чем более раскован и свободен стих, тем чаще поэт прибегает к риторическим фигурам повторов, к системе ассонансов и т.п., оберегая ряды стихотворных строк от превращения в прозаический текст. Но ассонанс и повтор — характерные приметы народной песни. Поэтому сквозь ткань вполне современного верлибра начинает проглядывать канва народного напевного сказа — закономерность, которую еще предстоит осмыслить и обобщить исследователям поэзии 20 века». О народном сказе в случае стихов Афонина — конечно, перебор; но стремление речи к естественности и интонационной оправданности — делает их доступными для нормального читателя, не лишая тексты «многослойности» смысла, но и не перегружая его их темнотой и запутанностью. Например, (пейзаж с Сестрорецком) *или* (27-е января, вечер даты снятия блокады) *— почему эти мелодии запоминаются? Потому что в верлибре больше обертонов?*

В стихотворении (и снова — память) *Афонин вновь возвращается к теме дежа вю восприятия, с подкупающей искренностью уверяя, что помнит то, чего не видел (у Евтушенко это было по-другому). И я решаюсь поверить: в медицине такие феномены описаны:*

«Как мне объяснить, а, главное, — кому объяснять,
что я помню Петербург, 14-й от девятисотых год, кабаре, кабаки,
собак, извозчиков. И все эти лица —круги по воде по весне,
что потом застынут кусачими звёздами на фотографиях...»

Ловлю себя на мысли, что я, пожалуй, тоже помню нечто подобное, чужое; или скажем так — бывали счастливые моменты — но ход жизни и закон самосохранения научили этого избегать... Лишний груз, ненужные мозоли на сердце... Афонин оказался единственным из молодого поколения, кто заговорил с моим другом поэтом Андреем Тавровым на его языке, просек, что скрывается за его нагромождениями из человеко-бабочек, самураев и леопардов... Помнит мороженое за двадцать копеек? А за двадцать шесть?

В книге есть интрига, беллетристический ход с французским сюжетом (Франция — родина кино, стилистически верно). Поискав имена ветра, автор выбирает персонажа с виниловой пластинки — шансон... джаз-бэнд... Париж... ностальгия... поэзия большого города и одиночества.

«Внутри моего пространства заводится персонаж
вроде как плесень на сыр
или веселье в вино
ну или любовь до гроба в кинотеатре»

Введение персонажа, француза 1921 года рождения, дает новую точку отсчета, освобождающую от чистой лирики, намекая если и не на сотворение эпоса, то хотя бы на вторжение чужой жизни (если чужая жизнь в этом измерении вообще существует). Имена (не знаю, насколько они вымышлены), их, кажется всего два: Мишель Бернар и Карин... Фрагменты бытовых озарений, заграничный материал, вызывающий исторический (даже этнографи-

ческий) интерес, завершаются вполне «конкретной» биографией главного героя, которая дана в главке, названной «почти роман в стихах». *История молодого человека из предместья, покоряющего большой город. Точный психологический портрет, трогательные бытовые и исторические детали Петеновской Франции, о которой мне рассказывала Валя Джори, моя любимая графиня (книга Афонина тоже посвящена какой-то таинственной княжне, прием это, или обращение к реальному человеку — несущественно).*

«Ну и, конечно, волосы подлинней (чтоб не слишком курчавились) и
артистическая лёгкая небритость — нам семнадцать, мы уже всё можем!
Поступить в консерваторию и учиться легко —
просыпая одну лекцию из трёх (утром?.. да что вы, да никуда), зато неплохо
подружившись с фортепиано:
в солнечном классе пылинки, рассыпчатые брызги Баха...».

Будем считать, что это литература: портрет художника в юности, Мишель Бернар в становлении, Гаврош времен Сопротивления, неудавшийся музыкант, или просто человек в стремительных декорациях времени... Начало жизни, намекающее на обретение судьбы, события, встречи, поступки, надежды... И вдруг такой бунинский обвал в бессмыслицу, чепуху, женщин, пьянство и вот уже двадцать первый век на дворе, и все как во сне, и не понятно ничего. И грустно.

«...и были плотины, кофейные чашки, Ван Гог в музеях,
машины брызг и смешные мягкие кепки

носили. Как мы умели тогда говорить, как говорили ...»

И эпоха прошла: и черт его знает, что это все значило... Война — «детская радость поиграть в войну, нагадить по мелочи - чужим, властям, взрослым». *И была ли она вообще, оккупация? Нацисты в высоких фуражках, следователь герр Райнер: «вы что же, думаете, мы не знаем о происхождении ваших родителей, будьте же благоразумны...»*

Читая фрагменты этой придуманной (услышанной от кого-то?) жизни, я начинаю рыться в своем столе, и нахожу папку с эмигрантскими письмами из Нью-Йорка в Москву (конец 20-ых годов прошлого века), подаренную мне когда-то одной веселой дамой — «я все равно не буду читать, а ты вроде как — писатель, можешь, отразишь как-нибудь...» Вспоминаю, историю про Гертруду Рубинштейн, чей Лонг-Айлендский дом мы с женой продавали после смерти хозяйки со всем его содержимым. Шубы на рыбьем меху, фарфор, коллекция трубок умершего мужа, фотоальбомы, гора винила вплоть до пластинок, подписанных Карузо, гроссбухи, банковские счета, справка об освобождении из Аушвица... Мы реализовали далеко не все, многие вещи оставили себе, и на какое-то время жили в интерьерах Гертруды: почему бы и нет? Чужая страна, ни родни, ни почвы, ни судьбы. Мебель пришлась ко двору, посуда тоже (старушка имела хороший вкус), но главное — пор-

треты. В довоенной молодости госпожа Рубинштейн имела удивительно благородную внешность... Вот мы и пили по утрам кофе из ее чашек, и она взирала на нас с портретов с понимающей улыбкой. В невинности этого мародерства я не сомневаюсь — для нас это было чем-то большим, чем литература, это имело жизненно важный смысл. Стихи Афонина — тоже больше, чем литература, иначе зачем бы я брался писать о них?

«в когтях прозрачного как после долгой болезни
утащу разниму
разложу на кости»

Если ты помнишь свое предыдущее воплощение на этой земле, ты помнишь и блокаду, и Сталинград, и «комиссаров в пыльных шлемах», и мороженое за 20 копеек, знаешь о «ленинградском времени» и «опасных городах»... Сравните с историей валлийского Талиесина — Гвиона, короля поэтов. Колдунья Кридвен варила зелье мудрости в огромном котле, заставив Гвиона помешивать варево. Три капли попали ему на палец, и мальчик, положив палец в рот, проглотил капли. Вся сила зелья была заключена как раз в них, и Гвион обрёл дар великих знаний и мудрости, узнал, что было и что будет. Поняв, что Керидвен будет очень зла на него, он бросился прочь, а ведьма побежала в погоню за ним. Убегая от Керидвен, Гвион превратился в кролика, тогда Керидвен обернулась собакой. Гвион превратился в рыбу и прыгнул в реку, но ведьма стала выдрой. Когда мальчик обернулся птицей, Керидвен стала ястребом. Наконец Гвион стал пшеничным зерном, а Керидвен обернулась курицей и склевала его. Тогда она забеременела, но, зная, что ребёнок — это Гвион, она решила его убить. Тем не менее младенец оказался столь прекрасен, что она не смогла этого сделать и пустила его в море в кожаном мешке. Он выжил и написал:

«Девять месяцев почти
Я был во чреве Каридвен;
Сначала я был Гвионом,
А теперь я — Талиесин.

Я был с моим Владыкой
В небесной вышине,
Когда пал Люцифер
В адскую бездну.

Я сидел на крупе коня
Илии и Еноха;
Я был на высоком кресте
Милосердного Сына Божьего.

Я был главным строителем
Башни Нимрода;
Я трижды заключен
В крепость Арианрод.

Я был в Ковчеге
С Ноем и Альфой;
Я видел гибель
Содома и Гоморры... » и т. д.

(перевод Д. В. Нэша)

Алексей Афонин опирается на древнейшую литературную традицию, к его свидетельствам стоит прислушаться. Для меня его появление в поэзии говорит о возможности связи времен, поколений, даже о преемственности, но самое главное — о том, что люди могут понимать друг друга, если говорят о действительно важных вещах.

В книге есть пролог и эпилог. Пролог кончается словом «черный», эпилог — «зеленый». Черным можно обозначить аскетический буддийский путь, зеленым — восторженный суфийский. Оба ведут к одинаковому освобождающему результату.

Вадим Месяц

Н. и Княжне —
с благодарностью

автор также выражает глубокую признательность Эллариэль (В. М.)
за неоценимую помощь в работе над этой книгой

...потому, что сказка никогда не кончится.

Олег Медведев

ПРОЛОГ

* * ***(память)**

играть со страшным.
стремительно пахнут листья.
ты думаешь — дом, а к горлу подходит — вечность.
ты думаешь, делаешь, — с дулом подходит вечность,
цветёт стрелолистом
в прудах твоих улиц.
осокой блокадного злого болота
наследия чёрных подъездов, которые *помнят*.
ты думаешь — ты, а выходит с кварцевой точностью взгляда,
приходит — безмолвное,
приходит — безумное, и тонко, винтовочным маслом,
затвором безгубого рта клацает среди цемента
и залитых мглой подворотен.

и скатерть, залитая мглой,
хранит подстаканники древних известий.
извёсточным крошевом вальса, который когда-то.

хватает за руки, не зная, не видя.
но помнишь.
как было, и стало, и чёрное на рукаве.
и липким, тошнотным восторгом смыкается день
от страха весь круглый и гладкий, как мячик.
ты здесь не живёшь и ты низачем,
и только чумной незнакомый разбег карусели,
сбежавшей из парка: ты картография
прошедших.

на тебе их пятна.
весёлые трупные пятна жирафьи, окопные пятна.
весёлые светлые злые леса, изрытые ярко
сапёрной лопаткою солнца и нежными
чайками.

чай, чужие окна, чёрно-белая хроника:
нескончаемый город.

дождь стеливший
в память из библиотек.

а тебе здесь жить.

играя со страшным,
с чёрным.

ИМЕНА ВЕТРА

* * *

сколько имён у ветра?
дофига, ни одного своего
сколько имён у неба — да кто бы знал
сколько имён у зайца бегущего словно поезд
по степи в медовое завтра?

сколько скажи мне закатное знамя
испанской фиалки кумачовый лоскут.
пламя цветёт и знает
как будет просто.

видишь ли нежность —
дымка, таль, провода и стрижи,
дальние города
из-под снега.

сколько имён у полдня —
фантики, быль и плеск,
золотые миры
на сухонькой сигаретной ладони —

нету мест
в розовую звезду в вагоне.

уходящее — приходи,
как приходят косые диагонали
от троллейбусов или радиосигнала
в груди.

сколько ж имён у ветра —
столько же, сколько строк
окон и писем в срок.

ртутное серебро
колеблется из-за ветра

* * *(**концерт hortus musicus**)

старая музыка с ветром и песком
кидается в зал со сцены
как уссурийский тигр
громадная

на дыбы взвивается
ходит на задних лапах
геральдическим зверем
стелется, тигриную мощь
под кожей пандеретты
перекатывая

стрекозами шелестит звенит
виола да гамба
тянет будто дождём из окон

крёстным ходом чумным городом
флагами библейскими голосами ветром
парусами карнавалами
или трогает за самыя нежныя души жилочки
смычком:

гнёшься ломаешься заново
виноградной лозой прорастая

..а все привыкли
к музыкокролику розовому
с искусственным мехом дистрофику
в клетке из радио
(убить — один поворот ручки)..

встретив настоящего тигра
цепенеешь

* * *

Мои стихи становятся всё страшнее —
текут по спине секундой ночных поездов.
Всё закономерно: так зеленеет
мифический луч над морем — последний вдох.

Смурные звери раскатываются ртутью
и, как котята, пахнут всем декабрём,
усталой лампочкой, жёсткой книжкой под грудью,
всем тем, что ждём.

А ждём мы — гордые — надо сказать, немало:
всего тебя, всего себя и ещё чуть-чуть
припорошённого серым мира, воды канала
и полувздоха, открывающего черту.

Тускло, пронзительно — горьким густым шоколадом
(сладость не вытравить, уж извиняй, — гравюра)
по языку — знамение эхолота:
вьюга, слова, слово — потяжелей, чем вон та железная дура,

на которую залезаешь с фотоаппаратом.
Бескрайние пустые пространства.
Добирайся, пожалуйста, аккуратно.
Здесь же повсюду море, Мировой Океан, богоподобная трасса.

И, как приедешь, звони, слышишь?
В руки дышу, сворачиваясь у экрана,
очень хочется написать чего-нибудь тёплого. Тише,

нужно уснуть. Наш ветер разбудит рано.

* * *

..и, если честно,
то как-то мне грустно:

те, кто падал спиной в открытые Богом ворота,
выходили из смерти сухими, как мокрые звёзды из Нила

но
мой командир, я даже не знаю, где это было...

..доктор, бля
что это было?!

* * ***(золотоглазый)**

здравствуй, мой золотоглазый,
ты опять ко мне приходишь.
ходишь, ходишь, ходишь, ходишь,
всей округе уснуть не даёшь.

хочешь, чтоб я рассказал

да-да, и то
правда:
нужно выблевать из себя
весь этот кайф

..когда
нас накрыли в штабе, листовки, прокламации, все дела,
карты какие-то
наши
все успели, из окон, через подвал —
я остался. не успел. не хотел.
когда они.. стоял возле стола.

и ты закидывал ногу за ногу, привольно, —
где решётки
с запахом пыльной краски цветы,
и красивый эсэсовец в чёрном,
который бил меня по лицу, —
раскинувшись в кресле,

невидимка.

далее — стыдливо падает занавес,
но ты проходишь под ним.

изумительной точности образец:
сломанными пальцами нот
игра на саксофоне светлого коридора,
дервиш, щекотка под рёбрами,
тоненький холодок
го́лоса.

натянутый кадык,
провалами век — в вечные полюса.
хо-лод-но! теплее, вернее —
вырванным запястьем — обратно:
«отказываетесь?..»
звяканье эмали о,
о металл.

после — что-то чёрное,
кручёно-верчёное, обречённое,
отчаянное

дубль! два. обнимаю,
понимаю: жить уже не.
так хоть обцеловать
на прощание:
согреться.

далее — уже безлице:
охвативши ладонью грудную клетку,
прижимаешь ремнями к чужой темноте,
и рядом стоишь за плечом
чуть в стороне,
и шёпот стекает по шее:
дальшшшше...

золотолицый мой, ты — везде.

приходя в себя как в заброшенный дом,
осознаюсь лежащим
на скользком дереве,
раскинутая рукокрылость — это
значит грудь нараспах: *Freeeeeedoooom*!
ну или что-то подобное

..а из моих запястий растут чудные розы,
насквозь гниющие чудные розы,
поднимаются, извиваются,
тянутся
на восток.

я тянусь, обкусываю их губами,
превращаюсь в свет,
захлёбываюсь соплями.
бессильная гордость разбитого подбородка,
синь зимородка:
электрический свежий ток.

я — спираль, вихрь, тайфун и голые
рёбра, холодеющие лодыжки, без тормозов —
ты подходишь ближе, — и в твоих глазах
отблеск истины:
так дай же её мне, дай мне её, дай её!!

огонь, огонь, блеск,
спираль, круги, искры.
начинает летать.

..и подходит, и тонко
улыбаясь, погружает пальцы
мне под рёбра

..и подхожу, и тонко
улыбаясь, погружаю пальцы
ему под рёбра

..и тысячи тысяч зеркал друг напротив
друга

..и тысячи мы

..подходят, и..
в глубину, без ножей
по локоть, в самую глубь.

чёрт возьми!! до самого всхлипа,
до дрожи, трещотки,
до мостика
выгнутого хребта, —

.....

надорванным горлом
играет виолончель.

..и отходит, и снова
открываешь себя наугад
как книгу, вытащенную приливом, —
мокрого, злого, дрожащего
пронзительно детского
никчёмного
выкидыша всей вселенной,
бесконечно благодарного
за солёную воду
на лице, —

на равнодушье металлических прутьев.

ты уже феникс,
привыкни.
более не скелет,
даже не пасынок чьей-то войны.
ты — глаз зимы
выпуклый, когда маршируют чёрные фуражки,
и время от страха сворачивалось молоком.
башенный чёткий страж,
приглашение, как на танец, в подвал.
37-й год, отчаянные глаза мандельштама,
чей-то дедушка.

история, вскрой мне вены.
золотоглазый наматывает круги
вокруг, —
как бинт вокруг шеи,
как клейкая стрелка воображаемых часов
«сколько ещё?»,
как казённый воздух.

я рассказал.
может, хватит?..

* * *(**о доме**)

..брат мой, сердце волчее,
ты куда же такой безумный?
молча
губы вжимаешь в зубы,
запрокинув к лампе башки Везувий.

ты зачем такой сумасшедший?..

— на зелёной луне — пришельцы.
вкрадчивые assасины пустой маршрутки,

стремительные, как абсент.

гулящий ветер со льдом,
декабрьский
в стакане моём.

— жёлтые маршрутные апельсины
жмурятся, заглядывая в проём
твоей незабитой оконной щели:
ветерок, сквозняк, бездна —

ты об этом?

— да. памятью всех странных вещей
не вытравить, не захлопнуть форточку.
всеми подвалами её не согреть.
я просто устал смотреть.

..и когда я доведу свои очки до нужной кондиции
(в смысле, ослепну и сломаю их насовсем),
когда проиграны нами будут все были и небылицы
поперёк радиосхем;
и от клацанья затвора когда
станет не сумрачно, а «наконец-то!» —

вот тогда-то я заклею подорожником провода,
уходя по дороге в детство.

где шмели гудят басовой струной
в песенке про не-таких-как-все.
знаешь, мне так давно хочется в ту совсем иную страну..
там кони — как боги в овсе.

там прохладно и не очень хочется пить,
шелковиста тетрадь и в пасмурно — спать
под черёмуху, там древние деревянные стены тёплые
и можно не умирать.

а потом — оттуда, на старом автобусе
по пустынным холмам
в странный город, разбирая по чердакам
запах сарсапарели и всяческий хлам

в дождь или майские сумерки, напрямик
по чабрецу и имбирному привкусу старых книг,
по воде, по лужам, в смешное кафе
где с серебряной ложечкой во рту придумываешь по строфе

на каждый глоток — вот туда, под потолок, в залог
оставляя целый свет за вкус твоих рук,
по балконам, эркерам, и ведь так светло
как не бывает и на морском берегу, и —

на звёзд тончайшие взвизги
разбрызнув луны лаваш,
кисти, берущие кисти,
стремительно целовать,

дышать и знать:
Муми-дален здесь,
а мы с тобой разучились играть в войну, похоже на то.

а в глухих переулках цветёт под дождём каштан,
и гитара ждёт, повисшая на гвозде.

* * *(**<u>в будущее</u>**)

фиолетовые маяки пространства
ловят за уши
чешуйчатых драконов времени —

я выхожу на связь:

...и в полутёмном коридоре
где кориандр и темнеющий асфальт —
из зеркала, большого, словно ветер
выходят дети и звери

прозрачные, как ложечка в стакане
смеются и играют в тени, в мяч
летящий, в колесо сансары
играют с лазером-сердцами

с глазами вертолётными, как скорость

их обнимает (и вихры трепещут)
ветер, тёплый как доверие
шатающийся поздними дворами

там так же — небоскрёбы
с глазами вечерних собак бликующими
и фиолетовые мокрые фиалки

и ханьские иероглифы беседки

и феникс, разрывающий пространства
атомной волною: радость с привкусом озона
и в пагоде груди светло и пусто

курящиеся палочки светлевших судеб:
серебряное счастье, зыбкий отзвук
сиреневое счастье, взмах полёта

и чёрный лак, и бронзовые перья

на дальнем планетарном берегу

...фиолетовые маяки
гнутся в ожидании стремительного поезда -

я выхожу на связь.

* * *(**<u>полночный разговор</u>**)

Отвяжись, ради бога, тебя ведь нет!
Я же просто тебя придумал.
Ты — какой-то остаточный элемент
подростковых комплексов (веры в чудо?),

я не верю, если честно, что ты живой.
(И с живым — мне было бы слишком страшно).
Тыкать палочкой в страшное осторожно —
ты на это мне нужен, мой лиргерой.

Не поверишь, не сахар, не сладко —
по полночи зажимать тебе рот.
Проклиная всё, вставать, включать интернет,
делать чай, закидываться таблеткой..

Ну извиняй, сигарет тут нет.
Ах, не надо? Правильно, не надо окурки тушить об руки,
слушай, ты, позор для точной науки,
я в тебя не верю, уйди, урод.

Нет, ну правда же, объективно смешно.
Утром встану смурной — и чё это было?
Мне плевать, как кого-то где-то там били,
да и не было, не со мной, давно.

Спаниель кудлатый, ещё завой.
Ну, идиот, ну, чуть-чуть недоверил в чудо..
Я тебя напишу, напишу и забуду.

...Просто слишком страшно, что ты живой.

* * *(**выход**)

Ни слова
человеческого, даже и не проси —
ни вдоха, ни памяти, ни музыки, ни воды.

Кружащаяся золотистая россыпь — лёгкие лепестки,
блики, отблески, салатовый привкус травы,
погружённые в глубину пространства, старые дни —
кирпичные стены и солнце. У безымянной реки

без берегов и илистой грязи — нет.
Маяки не светят — бесконечный день.
Тебе не нужна человечья кожа, суставы, деньги и тюль гардин,
душу — не нужно. Выброси и оставь,

дома оставь, ненужную, в корзине с грязным бельём.
Оставь и иди — голубовато-дальняя явь
распахивается, голубиная, чуть дымится за окоём
таль весенняя. Красные кусты, и вода,
облачно разведённая,
блестит в колеях как жесть.

Вкуса неба с молоком

такое произнесённое молчание: есть,
без я. Бесконечная жизнь
курящаяся на ветру,
                от горящих помоек несёт
чаячьим криком, чистым, синим, иным.

Это — такое ничто, большое, как всё.

Всего лишь танцующий в небе дым.

* * *(**говори**)

Говори, говори, моё счастье...
Jam

Говори, говори.
Этими пальцами вот по клавишам нот — говори,

обрезком стекла по щеке,
лицами друзей, голосами рыб, —
надо уже, выговаривай,
вычувствывая
мир будто зубы кончиком языка — изнутри,
ощущая своё нутро
как летящий прямо в глаза футбольный шар,
вставшую на дыбы
планету, земной мяч.

Произноси — моя
девочка, — говори, говори,
только не очень при этом плачь,
просто
потому, что некогда — слёзы теперь потёками кварца
застывают где-то на периферии
рвущего Млечного ветра Пути тугого как шланг,
не обещающего ни окончанья пути,
ни рахат-лукума, ни пары билетов, ни финки под плащ,
только рвущие губы бритвы сна — снег, километры железных путей,
полюса —
рыболовный крючок для светящих и голых сердец, —

дикое, дикое счастье, простое, как смерть, и, словно даос, бессмертно
неуловимое, ящеркой на прогретом камне Вселенных — лови,
лови его, сколько полётов ещё впереди. Раскрыт полёт,
сыплются искры из горла, уходит прах —
так просто и так легко,
под ногами — шкурки, хабарики, чёрный лёд, а в голове —
огни и огни, и столько несказанного о любви.

Так говори! Изгибаясь мучительным стоном,
лирой, арбузной коркой, струной — резонансом моста,

лёгкие выблевав на снегу в тщетной попытке встать
серым бликом на радужке, ароматом озона, колечком в твоём кошельке,
чем-то бóльшим, — светло, дочиста, без греха и границы, —

так листают запоем страницы под ёлкой с марципанами,
так горят и грезят вдвоём,
так солнце осторожно заглядывает в проём, —

так — говори. Мы успеем, мы просто не можем теперь не успеть
выговорить, выкричать, полым корпусом скрипки —
целый мир из себя, и чуть, до атома, больше. Немного больше —
чтобы упасть.

Подломивши неловко кисть, а пока —
принимай дары, —
целая жизнь для этого впереди и ветер высоковольтный.

А это значит — сурово, до обморока,
клавиш касаясь в сумерках.
Говори.

* * *(**дежа вю**)

созерцая кузнечика у ручья,
прихожу к неутешительному, в общем-то, выводу:

кажется, всё это уже было.

так что совершенно непонятно, с кем сражаться,
с чего париться, на что глазеть:
выпалывайте ростки дихотомий, похожих на розы,
мироздание — одна большая ничья.

но ведь вкусное! перебирать

всё, что есть у меня: нефритовые лягушки
сухие стебли травы, лисьи хвосты
папоротник и осокорь
мускулы росомахи
запахи соли, японских водорослей
сталь травлёная — всплеск хамона
птичий профиль
валашские брови
серебряные фейерверки, *бродячая собака*
круассанов французские крошки, очень
много дыма, табачные разные невыносимости —

как камешки разные в круглой коробке.

пуговицы слов под языками,
облатки на языке, а на них — леденцы
тысячелетий.

и много, много сухого марсианского льда

в зрачках, и улыбаться неотвратимо, почти что — необратимо:
у меня в карманах — весь голый свет и полынная чёрная вода,
мне не надобно вашего *лирического мэйнстрима*.

* * *

Как в открытые окна, без хлеба,
без огня — проливается в март,
Исаакий, дрожащее марево,
запах зыбкой и грязной земли.

Не оттаяло, даже не думало,
просто корочку с вечности,
млечной, маковой,
просто дым по плечам понесли.

Просто со льда — в будущий
июнь, в сиреневое
над крышами, в чумеющие
парки, сады, скамейки,

говорить об иголочках соли,
исколовших несытую радужку,
обо всех запредельно минувших,
слежавшихся, осторожно,

взрывая бурую грязь, не боясь,
процокивая, причмокивая, слезясь
от восторга и ветра,
лелея Кунсткамеру, крейсер Аврору

в опальных кистях.
И, чумея от собственной наглости,
кошкой бродит в весенние алости,
суть расслышивая в новостях,

ловит сны-мошкару голым ртом.
И, ничуть не жалея о том,
убежавший и спасшийся атом,

по аллее гуляет пустой
и честит непохожего братом.

* * *

стихотворение — такая огромная
сомкнутость

представьте себе шарик

а в нём — мир

* * *

Впадай в счастливую зверюшку.
Слушай город.
А город дышит лиловатым рыбьим брюхом
с налипшими чешуйками текучей проволоки

нежной влажной травы из-под чёрных пролежней снега.
Трётся щекой шершавых кариатид,
говорит: люби меня
как я люблю тебя, запахами, ларьками новых затей

долгими пузырьками больниц
запахами и коридорами, стрелкой Васильевского
в твоих вечно спешащих часах
сердца: и маятник, и колодец —

всё это с тобой. Жмурятся дворы-колодцы,
подставляя белые лица твои под дождь. Так сними лицо,
смени лигу, линяй, магический зверь Цилинь,
свернись китайской лисой

кренделем тёплых булочных у витрин.
Напиши себя, Гумилёва прозрачным карандашиком в ледоход:
такой змеистый шуршащий зелёный змеиный лёд,
инеистая грива моста, плывущий крен —

морские коньки, узоры, подъёмные краны
у горизонта. Парусник уходит, ушёл в туман —
паром теперь, и в паутине новые люки в трюмы дней:
новые гости, новые дети, озябшие голые руки в карманах,

военно-морской музей.
Я так люблю тебя, говорит: ракушка, сомкнутость, часть корабля,
шарик со снегом, доверчиво скользящий
из ладони ржавой моей в ладонь

к тебе. Посмотри, успокойся трогательной весной:
ласковый дом, размытая патина, акварель
всех порталов твоих заброшенных и поездов
конями летящих, берущих последний барьер.

* * *

новый мир = пространство листа
готовы? тогда по местам

закрылки выпущены, убраны шасси —
и лебедь взлетает
пластают пространство крылья тойот

смеясь, проходит Великий Койот

жимолостью прорастает
Тристан

* * *(**работа в чёрном**)

Водитель Мёртвых — такая смешная птица
у него нет души, ничего не может присниться
мир проваливается к нему в глазницы

а он равнодушно поводит остановленным клювом

на спицы плечей наткнуты подземные луна и солнце
загнутые бледные чёрные когти
небесные корни масляные души

хриплые масляные фонари на новой дороге

пустой внутри как личинка
в нём валится мир вовнутрь
во всегладный колышущий омут,
темноты латунное море —

а он не видит

потому что кто когда умирает —
бьётся кричит веселится
не может расстаться
а душа в потолок бьётся, бьётся синицей —

не растаять

и он как перо слетает:
хватит кричать улыбаться
иди ко мне в когти

отдавай все свои мокрые слова обручальные кольца
распаханные суставы

всё съем проглочу в омут
обниму сыро за глаза за ноздри
в когтях прозрачного как после долгой болезни
утащу разниму
разложу на кости

и пойдёшь чистый по новой дороге
первозданный никто не-воин не глина

— действие в чёрном, ворон не ворон
и мрак в углах, пуповинка к бездне

* * *

Чего это стоило?
Может, местами чего-то и стоило.
А что не стоило — то взял Крестовский
остров яблок, повисло на перекладине.

Боженька-ветер-утюг налетит — погладит.

А вообще — это просто в сценарий вписано намертво.
Я так живу обычно, это нормально,
просто как-то так получается.

Просто спокойно не получается;
кто-то много веков назад попомнит меня —
а мне икается.

* * *

...а ещё в них удивительно то,
что пишут они не о жизни, а только о поэзии —
немного утонули в себе

мёдом мёда мёда мёда мёда мёда священного —
переработанный вторпродукт

..а потом придут такие священные, чёрные —
их не попросят ведь, а они придут

MICHEL BERNARD

(рукопись, найденная на виниловой пластинке)

И под ногтями красно от малины,
и голос сорван — видимо, во сне.

Линор Горалик

СТОРОНА 1

* * *(**мишель**)

Серый рассвет.
Двое с винтовками бредут наугад.
Амбициозный мальчик спросонья топчет посев, —
тот, который ни в чём будет не виноват,

дышит, думает о своём. Ну не виноват вообще —
просто девочку чуть не того, и прикладами по рукам..
Курит, вздёргивает воротник плаща —
холодно по утрам.

Господи, да и какая к чёрту война, как же не вовремя, скорей
бы переодеться, пойти играть,
и ещё я обещал Мари... В инее. Розово. Фонарям.
Господи! помоги соврать.

Пахнет сырая зима как вздох или огурцы
в форточку, прерывает вдох, почти улыбаясь всем.
Розовый дым кладёт на весы
позёмку и карусель.

Вспоминает, как где-то брели с винтовками наугад
и как когда-то вчера заходил добрый полуслепой сосед..
Опускает глаза, оперяет взгляд.
Хмуро учится дышать нараспев.

* * *(**мишель — карин**)

С какого рога луны
рогалик кусаешь, танцовщица тонких шпилек,
ты, кошка, восхищённость лихорадок сенных,
весны и Сены могильных шпилей?

Карин, моё лунное привиденье, зачем
ты скачешь, как звёздный заяц?
Боишься, что глыба дня заденет плечом,
наденет чинно, проезд оплатит,

выведет в люди? Нет, будем жить в чердаке, как боги,
как птицы, и завтракать аллилуйей.
Среди кип твоей рисовальной бумаги
я буду трахать тебя на полу.

И мы опять не дойдём до кровати,
не ляжем в спать и не купим смерти.
Внизу у витрин сопит обыватель:
наш скромный опыт его рассердит.

Пойдём, прижмёмся к витрине одними телами,
пойдём, закажем ястреба к кофе
и выблюем в небо его крылами
всю гнусь эпохи,

а сами станем чисты, как ветер...
Карин, моё лунное привиденье,
прости и останься, как дышат дети.
Я был уверен — нас не заденет...

* * *(**персонаж**)

Внутри моего пространства заводится персонаж
вроде как плесень на сыр
или веселье в вино
ну или любовь до гроба в кинотеатре

Это такая кармическая фенечка
или фурнитура на жизни, вроде молнии
или града, или грома —
дачного аттракциона
с веранды в запахе щавеля, жести и листьев клубники
(я не знаю, в общем, что)

Заводится властно, толкается как голодный котёнок
под парусящей рубашкой
поднимает в три часа ночи, пишет
пьёт и плачет прямо навзрыд
и снова упрямо пишет мной, светло-светло и
говорит мне про свой чердак
про девочку-художницу

Я ему говорю, не плачь маленький
я ему говорю, не пугай меня не пугай сука слышишь
не пугай дай поспать
дай поспать радибога сколько-уже-можно
да понимаю я тебя, понимаю
я тебя совсем не понимаю, ты странный
(я тебя боюсь)

Мы вместе читаем Экзюпери
(я кормлю его Францией как больного бульоном с ложки)
запоем читаем, потом уходим в запой (слава богу, он — я-то не пью)
запахом листьев клубники возвращаемся
он рассказывает про цветущие каштаны
сморкается и чихает, сенная лихорадка
понимаю, говорю понимаю, понимаю

Дрожит
это ты или я, это уже непонятно кто

только страшно было, страшно за что мне это
почему они меня так и... почему
почему она меня боится...
ненавижу чёрные фуражки

Так, может быть, чувствует себя женщина, думаю отстранённо,
когда внутри толкается непослушное дитя
проступает через тебя как пот
сквозь лицо агентом смитом
продирается

Называю его дураком, боюсь
потом мысленно пытаюсь обнимать за плечи
отнимать опасную бритву, не плакать вместе
выгнать из закрытых глаз ощущение
холодных чужих пальцев на подбородке

Он носится по углам, недоуменно
девочка следит за ним из остывающей постели
ты чего, а ничего, отстань!
закрываться в ветхой ванной
смывать несуществующую кровь
с несуществующих рук

Ты похож на смешную птицу
или ночное такси впопыхах (мокрое золото фонарей)
говорю, не плачь, ты же вчера был восторженный,
односложный,
возьми гитару (ахчёрт! не надо было..)
всё образуется
(не пугай меня так сука не пугай, я и так боюсь)

..а он, сбрасывая руку с плеча, дрожит
сглатывая и как будто не слыша
ненавижу, ненавижу чёрные фуражки

* * *(**мишель. человеческое**)

..Пфф! — на свете есть слишком многие
вещи куда поважней войны.
Я ненавижу этих двуногих,
также рычащих и тявкающих четвероногих,
также пустые классы, слякоть и запах зимы.

Ненавижу случайных прохожих,
знающих поменее, нежели такие, как мы.

Руки, пропахшие табаком, разучаются говорить.
Впрочем, это ещё как посмотреть;
но зато они умеют визжать и кричать
на чужие голоса, и ставить печать,
и бледноглазо острить в новогоднем холо́днейшем серебре.
(Наверное, мне больше не захочется курить).

Спокойнее, посмотри:
так ведь вступает в эпоху легенда,
с хрустом непропечённых сапог,
с пятнами красной ваксы на снегу.
Это ведь нужно кому-то, возлюбленные враги?

Определённая невыносимость момента.
Чёрная лента.

Чёрт же возьми, а мне же ведь так хотелось весны.
Так хотел не уметь — будто иней у краешков глаз, —
леденеть, сталенеть до выдоха, до белизны
и входить в одну и ту же вену дважды...

Мир-то, в общем, хороший, незлой.

Только странный; и, в общем-то, всё по спирали:
мы когда-то блаженно и страшно играли
под ёлкой, дыша подсыхавшей хвоёй,

а теперь то же самое — только выше ценой.

(Я играю над ямищей грязной чёрной юлой.)

Только правда ведь — многие вещи куда важнее:
Дебюсси, предзакатная палевость мóря,
мандарины и снег, и в витринах — засахаренные края
горячего праздника. Как в мультфильмах Диснея,
как в детстве — чтоб непременно вернуться
к обеду, в музее разглядывая якоря.

Смерти нет... Только вот больно бывает до дрожи,
до зелёных соплей, до дорожек по мокрым щекам,
до закрашенных бежевым окон.

Немного дороже
можно было б быть друг для друга.

Но, видать, не научились пока.

* * * (**мишель. фр., 43**)

..бегают, бегают люди по улицам, ходят по улицам
бегает, бегает дождь по зонтикам, бегает —
клетчатая акварель.

запах свежих багетов
багетные мастерские
ветер хлёсткий.

люди хлеб или лук идут покупают
сыр и новые башмачки
люди плачут, плакают, курят — местами — навзрыд.

истребители спят в казармах на страже нового дня
спят и верят: мы спасём это солнце
от квадратного чёрного круга
моторы, вздрагивая, трясутся

во сне
оно непременно спасётся

снится: трамвай угловато трясётся, тот самый
по улице булыжной кривой
с краёв в тумане
и эркер тот самый круглый
16-й дом

но не могу дойти
потому что не сказать
главное не сказать

не назвать

я не помню названия..

* * *(**мишель. фр., 42**)

Зимой темнеет — как в театре.
Игорь Юганов

Зимой темнеет — как в театре
на голых стенах — белые билеты
и целый мир как ухо замер
вникая в длинный скрип партера

и длинных теней на паркете
из-за полуоткрытой двери
слегка подтаявшая поступь...

и снег, и музыка квартиры.

замёрзшие женщины на перекрёстках, озираясь,
притоптывая, светятся в снегу,
как блёстки летящем из-под фонарей.

И, с нотной папкой, ритмичный, как силуэт, — что тонкий, молодой,
и незаметный...
Горячие слова упрятаны в шарф,
и кружится, как шарик ёлочный, голова.

Свою чарующую поступь... На снег

поставил сумку. Прикурил.
Опять пошёл,

кружась, блестя, играет, как отзвук
настраивающегося оркестра,
когда все флейточки высвистывают не в лад,

а как попало и тревожно.
и небо скрылось в складках занавеса

пыльного, густого

...а мы идём смотреть спектакль
скрипя по снегу
зима темнеет, чей-то кашель, скрип партера

* * *(**<u>мишель. фр., 41</u>**)

эта телефонная будка

меня просто преследует
какая-то телефонная будка:

забираться
звонить, в руки дыша, радоваться
револьвер представляя под курткой
вдыхая тумана хмурые позвонки
звонки, звонки
большого города нитями в ночь летят
как беготня

(как в детстве, когда вдруг откуда-то можно не спать)

это как в казаки-
разбойники играем, в войнушку

и не понарошку —

под курткой
листовки, письма, листки
летят-холодят и щекотно до дрожи

страшно же

а вдруг поймают

что будет

а если и загребут —
то сразу отпустят утром

ведь ночь-игра кончается утром
обычно буднично

..правда ведь?

* * *(**<u>мишель. дни-мы</u>**)

Мокрые клювы смешных фонарей
качали меня в колыбели,
мимо жизни текли, проезжали чудн*ы*е машины,
мы были сном или явью, мы бились о берег,

мы выходили из-за пазухи пасмурных площадей,
убивали в себе человека и змея,
завтракали в открытых кафе,
курили под дождём,

постигали краски, цвета и знаки,
смешивали звуки,

мы были цветами, розочками бутылок,
мы бились пеной в сколы витрин.

Мы были бессмертны.

* * *(**мишель. два часа ночи**)

господи, какая невозможная квартира!
господи, ничего невозможно найти

перебирая пластинки в два часа ночи,
прихлёбывая белое вино

из горла, может ли думать про сухие старые звёзды
Тибет, саркофаг
морды чёрных собак

всех, кого ночью к оврагу ведут

ты не заигрался ли, милый друг?
но для долгой дороги первая карта — дурак

молод и горд, и полон собой
не веришь в сказки, ты веришь в искусство, собой закрывая свет
но сказки подходят, ползут, они-то верят в тебя

обои цвета нагретого тела
погасшего света, пунцово, металла, распада

дверь — привычно — открывается на себя

поставлю Дворжака, «Симфонию из Нового Света»,
давно хотел послушать
всех, конечно же, разбужу
но и чёрт с ними, ладно

вот, так и знал. может, не открывать?..

потом много думал: лучше бы это были соседи

а лай собак, вибрации поздней машины

вдох, обрыв: почему?
со мной

..мсье, пройдёмте
с нами.

голо, голо стоять босым на снегу на мёрзлом пороге

* * *(**<u>мишель. почему</u>**)

так:
американские горки: ух
(как на американских горках перед плохим экзаменом)

плавающее ПОЧЕМУ
большими нейлоновыми буквами
как чулок на ноге нарисованное
на тебе

прямо на лбу:

почему — со мной?

смешное
проваливаешься в него, как в сугроб.

кабинет, лампа.

* * *(**мишель. работа в чёрном**)

книжку не дочитать
перед смертью не надышишься
слоняешься по квартире, потом всё равно ложишься
отчётливо веришь, что ничего не будет
но они приходят, сразу, стоит только выключить свет.

сначала — сворачиваешься, как будто тошнит
правда, очень сильно тошнит

..понимаешь, я же не знаю,
где я был, когда он сидел в этом кресле
может быть, ещё не родился
может быть, находился в его мыслях

искался, терялся и находился
как ниточка ариаднина, но так или иначе

сейчас хрустнет *моё* плечо
наши, вернее, плечи

понимаешь, я даже не знаю,
как это объяснить, да и чего тут объяснять
про что рассказывать, если и так понятно
что вообще-то нельзя так бояться
но тут как не бояться?
бинты и мята

мятным, вернее, ментоловым привкусом
выдоха по лицу: будете говорить?
водянисто-внимательные голубые глаза
очень много табака, звяканье
ножниц с изогнутыми кончиками

рыжие веснушчатые руки,
тщательно вымытые

..древнеегипетские узоры танцуют
толпами, такие квадратные!
под глухую квадратную музыку.

..понимаешь, мне очень стыдно
про это рассказывать, стыдно вообще
думать, помнить про такое
стыдно, стыдно, смуглый потный живот
который трогают руками
чужими многими руками

пожалуйста!.. извиваясь,
но только вязкий хруст
чужой лодыжки — женской вообще-то, —
под носком сапога
никуда не получается деть,
он выпадает из любой кладовки
очень был короткий точный удар

— ты жмуришься, но уши-то не зажать,
и заставляют смотреть

и в зобу
спирает дыхание, давишься молчаливо
молчанием давишься, как жёсткими сухарями
совершенно не прямо, не горделиво

согнуто, стыдно, до слёз
до крови к щекам и горящих ушей —

ощущая на загривке
холодные пальцы, отечески нежно поглаживающие —
главное, теперь не просыпаться с воплем:
«документы, в ящике стола»
поскольку ведь кто-нибудь да услышит

определённые моменты:
лампа
раскрошенный кафель
(держат лицом над раковиной, потом, дрожа, поднимаешь голову)
как отцепляют руку от подлокотника,
до белизны сжатую, палец за пальцем,
спокойно, буднично: первый ноготь чтобы

потом, боясь, чтобы не прикусил язык
заходят за спину,
засовывают три, четыре пальца в рот
в жёсткой кожаной перчатке, пахнущей псиной

очень громкое мычание, прерывающееся в крики
как луна внезапно

три пальца в нёбо.
три выдоха в небо.

а потом
я подхожу и беру за руку
и говорю: пошли отсюда
брось тело, брось, гляди
какое оно смешное, совсем даже и не твоё.
там вон, бьётся
если глядеть на него сверху
простая человеческая креветка
хотя и довольно красивая.

пошли, полетаем около лампочки — смотри
какой потолок интересный вблизи,
эта трещина похожа на ихтиозавра,
а пойди кому-нибудь расскажи,
не поверят.

это же так любопытно — побыть
электромагнитной волной,
и совсем никому не больно,
а они тоже — волны!
просто не знают об этом.

я отведу тебя к своей бабушке,
там из окон видна даль и высотные дома —
как в далёкое
будущее,
сквозь петербургский туман,
там нежный ковролин и много смутного,

старого радио из детства,
там фиалки в горшках.
главное, не превращайся обратно в человека,
не надо, интересней же тонкой вибрацией,
зыбью сумеречной, *ками*.

квадратные древнеегипетские узоры —
часть земного круга,
не обижайся на них, побудь беспечальнее.
а из твоего лба — прорастает фиалка-аджня:
так раскрывается чакра —
как цветок.

а потом ты прилетишь обратно, лёгкий
и напишешь им электромагнитную записку
на обоях:

дорогие товарищи фашисты,
я вас правда очень люблю и совершенно на вас не в обиде
даже, но бросьте же вы, ради бога,
это голое, потное, бьющееся
в ободранном кресле, оно же неинтересное!

бросьте, подойдите скорее к окнам — ведь там, —
а то пропустите
такую красоту, что никогда,
проглядите самый красивый в жизни рассвет: там

по пологим пустым холмам
восходит малиново
атомная звезда

* * *(**мишель. музыка про баха**)

когда слышишь такую музыку,
чётко знаешь:
Бог тебя прощает.

слушаю Баха, прелюдии и
фуги — и слёзы навернулись,
они вернулись,

понимаете?..

..дорогой Иоганн Себастьян Бог,
пожалуйста, прости меня за мои распухшие разбитые руки
я, наверное, никогда больше не дотронусь до белых твоих зубов
с чёрными прожилками

и от этого мне так жалко
себя, так жалко, что хочется забиться под снег
и там доверчиво умершей собакой дожидаться весны.

а Тебя — не жалко; поскольку музыка-то — Ты,
и между нот-костей глубоких у Тебя — весь мир,

все мы.

* * *(**<u>мишель — карин</u>**)

Ты покупаешь мой счастливый билет.
Я так люблю целовать твой шарф,
душистый: душицей, гуашью — задумчивый день,
в руки дышать на заре

пасмурной, как насупленный волчий нос.
Я так люблю твой рыжий веснушчатый нос,
детские кисти, чашки и кисточки, грудки — как два луча,
твой чуть округлый тонкий зверий живот,

под стекающей медно коричневой кофтой
тонкое тело, вязаный край —
ваза с грушами, разбойничья чёлка - вскачь,
мой жеребёнок, ребёнок, загадочный друг, моя

самая вкусная — кофе и осень — кофейная девочка на земле.
Вся — как солнечный мальчик, лукавый пират,
детская память-платок, увиденные дворы, ловушка-для-снов —
колокольчик, сонная птица, маковый хлеб.

Маковый хлеб, Карин, ты — свежий шоколадный хлеб,
живая вода на молоке, мне без тебя никак.
Рыбками зыбкими в стекле, серебре
ходим с тобой одни: на ужин — счастье одно хрусткое,
снег бумаг.

* * *(**<u>мишель</u>**)

..и поясница свернулась ржавой струной.

смятая постель, сброшенный складчатый плед.

(пальцы на подбородке)

со всей силы бью тебя по руке,
отскакиваю назад.

ты... ты... ты меня напугала.

* * *(**мишель**)

..но главное теперь — не дышать поглубже
и в любом проживаньи не доходить до светящей точки

потому что в противном случае
непременно ведь появятся такие некие:

с алюминиевыми клювами
с добрыми водянистыми глазами
с ножницами с изогнутыми кончиками
в эмалированных лоточках

как боль, как тянет внизу живота —
обида, вина
вина, вина и обида
мутная коричневая вода

вспоминая, за всё, что теперь не можешь
не можешь, не можешь, не можешь
за обкусанные кусачками крылышки,
за немоту

не расплатиться и тридцатью серебряными рыбками

рвотная горечь во рту, а главное —
ты сам виноват, сам виноват, сам виноват, сам, слышишь? —
в том, что чего-то хочешь ещё теперь, что живёшь и дышишь

не соглашаясь считать себя калекой,
признавать очевидное

дёрнув плавником, уходишь ко дну
ловишь другую волну, чтобы забыться

но расплывается сепией, мучительными чернилами:
зачем я здесь, и как мне теперь, и за что
за что, зачем такое со мной сделали

* * *(**мишель**)

Поиграй на этой струне —
узнай что-нибудь обо мне.
Ольга Арефьева

я — как настроенный инструмент
а меня бросили и ушли, бросили и ушли

хочется

заставляли нырять глубоко
я не хотел
а теперь понимаю, что должен вернуться на дно
сияющее насквозь
я что-то там забыл, в этом дне
оставил самое важное

нестерпимо хочется

..я так жду этих чутких умелых рук
в двенадцать часов по ночам
и больше всего боюсь их прихода:

чтоб запели опять возмущённым диваном мышцы-пружины
когда струной распрямляется скорбная человечья жизнь
густым басовым толчком

скрученная колком
узелком
наручником
проведённая по щеке
вкось

с запрокинутой головой, с отброшенным всем
не похожая на себя
сыгранная вглубь

а когда достают, несчастного, обтекающего водой
понимаешь — там, в глубине — это был Божий суд

я, кажется, знаю, что оставил на этом дне:

прикосновение

не-одиночество

* * *(**<u>мишель. в ответ на вопрос</u>**)

— Ну, тут же, знаешь, всегда присутствует такая поганая штука, как здравый смысл.

Так вот:
главное —
вовремя засунуть его поглубже.

А вообще...

(Яростно взъерошивает волосы. Глубокий вдох.)

...ну... как. Это, знаешь... ну как сидеть у кабинета зубного врача.

Только хуже.

* * *(**мишель. фр., 46**)

Вино в глазах домов
за пунцовыми занавесками, около дней
теперь они становятся менее яркими, осторожные —
но не вкрадчивые

Зашивает дождь тонкими ножницами смятые покрывала

...Положи мне руку на грудь —
я учусь заново дышать.

Посиди рядом.

Пробую на вкус город- мир осторожно, с усилием
прохожу, невидимый, мимо подоконников,
вдеваюсь в силуэты, очертания стен, дней — как в перчатку

вдеваясь, прикрываю глаза, сравнивая отпечаток
под веком — с тем, что есть

Мир — смотри-ка! — висит в воздухе как взвесь,
пахнет выдохом

долгим, как что-то, со звяканьем наконец-то падающее из руки,
разжатые пальцы.

Так зачерствевшее печенье осторожно размачивают в молоке.

* * *(**мишель. в городе**)

..ощущение себя внутри костёла,
помноженное на туман,

даёт удивительное течение времени,
тёплого, как молоко
среди мороси и ещё незажёгшихся окон,

соединяющего изнутри ресниц
готические башенки
и цветы за переплётами с тяжёлыми квадратиками
мокрых стёкол,

всего тебя как элемент пейзажа — в дымку, текучую комнату, —

приглушённой доверчивой нотной линией

размытия.

* * *(**мишель. в городе. фр., 37**)

полосы света бегущие на потолке
как опрокинутые слова

закрывая глаза я любуюсь голосами людей
с шумной улицы где расцветает жизнь
в сумеречных полотнах

бессонный город целая жизнь
доверчивый запах покрывала

а потом будет длинное бесконечное утро
и кухня с ярко-жёлтой как яйцо стеной
мостиком в бесконечный яркий день

я засыпаю вперёд

* * *(**мишель. фр., 39**)

Джаз и клетчатые
лампы, стены, кофе: зеркальные зёрна.

А она — в сцене, как в середине
круга света, как кошка или ваза округло-

полная, уравновешивает этот вечер блескучим брелоком,
уверенная в непостижимости собственной геометрии
тёплого чёрного цвета, блёсток,

короткая стрижка.

И, когда поёт, запрокидывает на мгновения голову,
будто при полосканьи горла.

Губы, как чёрная вишенка.

И такая белая, белая шея.

И под локтем вспыхивало столовое тело гитары:
взятое баррэ
щекочет виски как желание

кончиками уже занемевших пальцев...

А она потом, проходя
мимо, своим грудным, рокочущим:

«Сегодня уже неплохо, милый...

мальчик»

* * *(**мишель. фр., 40**)

Они идут, идут продрогшим мартом
и солнце, завязь, полностью идёт,
и я продрогший в городе продрогшем,
они идут, смеются и идут,

и это солнце полностью идущим
всё бьётся, разбиваясь на слезинки
горящих крыш под солнцем, всё идущим,
они идут и как часы пугают руки,

и это март-апрель-и-май отсчёт идущим
как ждать, вдыхая жабры новостями
и это знать, или не знать, идущим
и солнце бьётся как под дых,

и это просто влажные слезинки
от солнца...

И уже живём в июне.

* * *(**мишель**)

оккупация ну как это — оккупация

это как просыпаешься летним солнцем
рождённый только что из глубины
ещё ничего не помнишь не открывая глаз

потягиваешься открываешь глаза

и вспоминаешь

мать вчера умерла

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ВРЕМЯ

* * *

остановка часов: это прерванный замкнутый круг

(этих чутких и ласковых рук)

под железными пальцами времени тело становится звук

* * *

В зимней квартире днём, потом вечером
изучали эльфов. Улица Тухачевского, отчаянный снег.
Сидели сначала вчетвером,
потом подгребла с работы ещё пара нечеловек.

От окна дуло напряжением пейзажа:
(пулевая дырка в стекле от пневматики)
геральдически расписанные зажигалки,
тетрадки с рунами, засохшие чайные пакетики.

Выморочные коты новостроек:
хвостатые коробки домов, толстые дворы.
Белая котта снега сброшена у помоек
правилами игры, обнажавшимися до арматуры

чьих-то внутренних полярных остей.
Рассказывают анекдоты, пытаясь не плакать,
не выкидывают ненужных гостей
из свободной любви: дома — родители, на улице — слякоть,

в подворотнях — святое почти светло или ржавый мрак.
Где-то там, в глубине, троллейбус, неуловимый, как мститель:
если он вдруг домой, значит, Хурин был прав —
день придёт. Если нет — есть в эльфийском *аорист*
и *настоящее длительное*,

не замёрзни. Город сливает нежную зимнюю нежить
с теми, кто у него внутри.
Разбивает люстру дня ледяной катаной:
пойди, в снегу пошарь, собери —

будет тебе Сильмарилл. Скажи, говорит, друг, и входи.
Скажи, говорит, друг, чё тебе надо в нашем благополучном флэту,
если вы так уверены, что всё равно победите?..
Ладно, поздно уже, заходи всё равно,
(снег посвёркивает на лету)

тащи какую-нибудь еду.

* * *(**ленинградское время**)

Ленинградское время — ноль часов ноль минут...
Ленинградское время.
из песен «Секрета»

..В двенадцать часов по ночам.
Ноль минут, абсолютный ноль: значит, может случиться всякое.
Ртутное придурковатое время плачет,
раскатываясь слезинками разбитого градусника.

..Потому в тебе так пронзительно-то́чна весна, и прозрачная без-листва —
как предутренний сон.
И настоянный сдобою-тишиной
по бороздке сердца царапает патефон.

Из всего, впрочем, можно и сделать фе́тиш:
как ты ешь или спишь, или куришь, или молчишь.
А потом подходят и поправляют: фет*и*ш;
что здесь ответишь?

Чьё-то прошлое — жгучий химический дом.
Не берись без защитных перчаток любви.

Здесь же дом другой, пахучий после дождя на асфальте, Невы
акварельная хмурь. Выходишь в хрустальную тишь —
ленинградское время.
И слушаешь: метроном.

* * *(**умные дневники**)

..а они там ведут умные дневники, обсуждают
там и Сартра, и Камю
кидают камни, собирают камни
сверхновые теории рождают

а я смотрю и ничего не понимаю
всё только воздух нюхаю, ноздрьми дрожа
всё лапами, дрожа, переступаю как ржущие
с Фонтанки кони в небо немо

вы уж простите мне, я человек простой
мне всё бы бессловесно бегать
в лесах, зубами скусывая землянику
на погосте

то, что вы пишете, наверно, очень сильно
я не знаю, но знаю, кажется, доподлинно одно:
да, во Вторую Мировую всех войну
французов всех почти тошнило очень сильно

* * *(**27-е января, вечер даты снятия блокады**)

..потому, что сказка никогда не кончится.
Олег Медведев

Сижу со свечкой на окне.
А кто мне все эти люди?
Просто соль и камни города моего.

Мир из окна немного дует гололёдом.

Свечу погладь по огоньку —
и запах кожи подпалённой
потреплет ласково по нервам —
как добрый дядя за щеку́.

Ты запах чувствуешь? Встают из-за болот,
и из траншей закопанных встают,
из бесконечных заполночных трасс.
Взаимоналожение пространств.

Проекция последних рубежей —
протектором выдавливается на снеге.
Нет, ты не человек — ты просто моментальных снимок
всех тех, из жизни выгнанных взашей.

Чего ты так боишься? На, смотри:
ну вот, глото́к, горелая извёстка, немного тошный запах
застиранных от крови тряпок..
И под столом нашаривая тапок,
без вдоха в темноту замри:

идут?.. Нет, не идут. Конвойным смотрит Вечность
из угла. И если воспоёт водопроводная какая-нибудь там труба —
не бойся, просто потянись и Вечность погладь доверчиво,

чтоб Вечность пристально погладила тебя.

* * *

а я считаю, что новыми должны быть не слова,
а чувства
как новый закат, повисший на ветке

терновый куст
смыслов под язык, на лоб
луны серебряные таблетки

или ты любишь боль
и на клавишах позвоночков играет пух
тополиный, как детство на синих висках у тех

кто просто хотел пострелять
вверх

* * *(**набросок**)

Ситцевое платье, цок-цок, каблучки. Начало дождя.
Не-поворот головы.

Это как привет из того мира, в котором ты никогда не был.

Бетонная стена.

И где ждут, замерев, ситцевые меленькие обои, буфет,
громкие механические часы.

MICHEL BERNARD

(рукопись, найденная на виниловой пластинке)

СТОРОНА 2

* * *(**мишель**)

это так банально что даже больно
снова не новее чем «я-тебя-люблю»

заходишь в пыльную квартиру
и через всё её лицо огромная трещина
фотография упала со стола при обыске

* * *(**мишель**)

«..Не правда ли, здесь готовят замечательный
горячий шоколад?
В этой стране определённо есть свои привлекательные
черты...» — лоб

пересекает морщинка тонкого смысла, — «но вот нравы..»
Да, вы правы.
Это, конечно, ни разу не дисциплина —
надкушенной сладостью истекает тминный

кусочек весны мучительной

слепой надеждой
чашка постукивает о зубы, блюдце..
И когда вот так не проснуться -
тоже...

Только я — *неблагонадёжный*
молодой человек, впрочем, от молодых
иного ожидать трудно — им слишком хочется пострелять,

те, кто просто хотел пострелять — неблагонадёжны,
а те, кто совсем уж любил пострелять — те идут на службу:
радовать родителей

улыбками детей
примерных до мозга чужих костей,
и за ними — как за каменной стеной
подвала,
так что всё справедливо:

кто не прав — тот и самый левый,

как, например, я,
да, герр Райнер,

вы правы.

Но времена, но нравы,
но методы...
И всего тридцать монеток

за кофе:

« — Да, вот сейчас допью
чашку свою — и поедем»

* * *(**мишель**)

Эта ночь, похожая на мольберт,
из окна нависает синё, по косой,
углом — ссыпав злые деньги звёзд в провода
телефонные. Пыльный паркет. Нечем дышать.
Дышу в телефонную трубку,
потом осторожно кладу: через полчаса они будут сюда,
меньше. Выхожу
к своим, молчу, говорю:

знаете, я... я...
ну, в общем, я...
в общем, через двадцать минут они будут сюда,
потому, что я... они... потому, что... Карин, родители...
короче говоря, уходите,
валите отсюда, слышите?!
Сваливайте как можно быстрее
отсюда, давайте, и можете меня убить и... и... простите.
Можно же отсюда ещё?..

Ну ты, парень, и...

Так, на чердак,
в душу, в бога, не успеваем,
у них там собаки,
ты оставила шарф.

И шухер машин, чёрные бегут, рикошет,
какие, к чёрту, соседи,
обваливающееся со звоном окно,
взвизг, лай, лай, лай,

так, дай сюда,
дай, я сказал:

из окна, ничего не вижу... Одна.
Так, кажется, попал,
громкий визг, раздробило, кажется, лапу,
вторая — есть, всё?..

Так, давай теперь, через подвал,
давай скорее, они уже..
что там с кем?..

...Ляпнуло горячо по предплечью.

Когда они... стоял возле стола.
Грохот,
падай! *идиоты, живым, живым*!..

..как свернуться, как червячок,
сзади, носком, кажется — под лопатку,
перед глазами что-то плавает,
кажется дым,
выгнуться,

под сапогами выжидательный скрип стекла
мимо. Прямо перед глазами —
такая витиеватая трещинка в ножке стола,

дальше... подрамник, изнанка холста:
с мольберта упала ночь.

Они ушли, спи-усни, всё хорошо.

* * *(**<u>мишель. 25 августа 1944</u>**)

...на ветру бьётся флаг.
на ветру развевается шарф.

есть, чем дышать

бросаться цветами под стопы колонны
хватая зубами цветущие строфы,
обжигаясь: *свобода* *свобода*
из ветра ворота и арки
всего золотого как море народа

а я всё-таки жив
как странно ведь не обещали
и чёрным безветрием дуло из щели

а всё-таки жив хоть и сломанной марионеткой
сгибается ветер ложится под руки
слепые как клавиши фортепиано
глухие

золотистого августа стропы
опутали руки

а всё-таки жив и монеткой
всё катятся круглые звуки
ныряют в фонтаны:
сво - бо...

..но, боже, как странно:
я всё-таки жив...

* * *(**мишель. фр., 47**)

Дождь, как контрабасовый бас
задевая пунктиром

разбивает пустые кувшины синих дней

И зеркальный куб солнца
вслед за прикосновениями его пальцев
настаёт

город тонкий
как пар

дым из крыш
чашка из кофе

Мы дыханием склеиваем разбитое

* * *(**мишель — карин**)

И здесь, где
трогательно стар бульвар,
мы с тобой, как голуби
в винограде, в вине, почти что в бреду, —

как на броде через какую-то странную воду,
где всё иссякает, уходит,

и лишь остаются
лоскуты солнца, переливающиеся на воде.

А помнишь день, когда мы венчались?.. Сбежали от всех гостей,
уехали за город. И был дождь, и вода заливалась мне за ворот
пиджака, а ты промочила юбку
почти до бёдер
и от этого стала похожа на привядший белый вьюнок...

ужасно проголодались. Ужинали в какой-то дыре
(окорок и дрянной коньяк, подумать только...).
И всё равно целый мир
расстелился у наших ног,
как загрунтованный холст.

Потому что кончилась, как проходит гнилая зима, эта война —
и каждый был счастлив,
каждый; даже если был одинок

среди вечеров и фонарей, и лип.
Сухой воздух и скамейки — как горсть земли в руках,
что бросаешь, отпуская... Но можно гулять и среди мха и могил,
если рядом у девушки бьётся под юбкой, как колокольчик,
жизнь, горяча.

...Ты моя лошадка,
ты — горький шоколад
с тмином... Взятый наудачу
аккорд —

без надежды на внятный ответ, но в надежде
на все зонтики и дожди; в пролёт

арки, как под крыло. И чёлка — как крылья, и как каприс;
с анисовым привкусом долгие облака, взятые, как сигарета спичкой,
смычком... Я дарил тебе ирисы,
представляя, что дотрагиваюсь до ресниц.

И в конце
нашего романа (не люблю сказки), будет, наверное, россыпь точек —
твоих веснушек. Никаких слов, просто горсть

крошек для птиц. Страшные сказки, для которых время — ночь,
хрустящие булки, для которых — день

и всё сначала, алые платки и бессонницы
с горячим вином, молодые, как смерть, — вся
эта карусель, как зонт у фокусника, вращаясь, постепенно

иссякает, уходит;
и остаются

нам — только голуби, воркующие в винограде.
Обрывки солнца, переливающиеся в воде.

* * *(**мишель — карин**)

как лодка на волне
ты качаешься на моих коленях
милая *милая*
губы — парус
ветер морской — синеватый свет радиоприёмника
комната заходится в такт
ключицы потолок грубые рубцы свитера плечи мои
твои беззащитные бёдра

квадратность красного цвета ковра
смята согнута изгибающимися линиями
рывков и переплетений
поскрипыванием костей
глубоко внутри рождается сокровенная виола выдоха
откинутой головы мучительно
победно в уголках рта слюной
её считываю наощупь краешком рта пересохшего
ещё ещё
добрая моя милая
судорожно сжатые пальцы в пальцах
только не разжимай не отдаляйся
от горячего живота жизни
я хочу доплыть до бескрайности морского горизонта
замкнутой комнаты

* * *(**мишель. фр., 50**)

Карин, идём. (И день расчерчен как апостроф
планерами стрижей.)
День начинается апострофом просыпанного кофе,
скорей, идём,

мы опаздываем! И ты торопливо застёгиваешь юбку,
другой рукой сметая в сумку созвездья мелочей,
ключей, зеркал, и спотыкаешься о лодочки, лежащие на боку
в пыльной линии прибоя

у прихожей... Идём, скорее!
Такая выставка - диагональ удачи: все крыши лета
напролёт, и чтоб потом за чашкой улыбаться. И замираем
на секунду: словно к чуткой глине,

к секундомеру, к лошадиной шкуре замшевой
как небо, я пальцами художника внезапно прикасаюсь:
к шее (и ты остановилась будто время; и стоишь не шелохнувшись).
Как незаконченную статую —

вылепливая. Ловлю под ухом дымный след духов
из ириса, и шёпотом тебя целую вдоль ключиц,

и улыбаюсь в полутьме себе как победитель...
Но тут нас время стряхивает
с себя, как мокрая собака: взлетели брызгами секунды!
И заговорщически

друг другу оглянувшись,
схватив расчёски, мы вываливаемся в мир.

* * *(**мишель**)

розовый камень стен
утиные утра
пряничные домики

гулять и крошить хлеб
шпили домов

захлёстывает
пузырчатым весенним состоянием
от тонких подошв до тонкого платка — как восторг
как горка аттракцион красное красное синее

как удавка
шею

* * *(**мишель. одно воспоминание**)

Старый выгнутый эркер, 16-й дом.
В комнате, за пыльным столом.
Там, за углом,

ну, найдёшь!..
Постепенно собирается дождь.
Эту улицу ты никому не отдашь.

Подворачиваю под себя ногу, сажусь на стул.
Жозе, напряжённо щурясь, грызёт карандаш,
Карин внимательно смотрит.

А в углу
часы напряжённо считают секунды до выхода в мир,
который мы делаем заново в нескольких новых листках.

И это так прекрасно —
засыпать среди дыма и гама на продавленном старом диване,
и чувствовать в полусне (всё время кто-то входит,
сквозит): что вот это новое время — у тебя под щекой.

Собственно, ждём ещё одного — того тощего, рыжего,
кажется, его зовут Фредерик. Он из тамошних;
приехал сюда, когда там, у них.

А на улице дождь считает шаги
по самому контуру карты.

И это такая знакомая улица, по которой в нигде уходит трамвай.
За углом постепенно начинает собираться дождь
в стремительные отряды.

Мои друзья.

Постные крошки счастья,
сметённые со стола.

* * *(**мишель**)

Мансарда и полусиамская кошка.
Долгий, как нота, мир заоконный
весь в бархатный кармашек
сердца упрячу,

теперь он мой целиком. Дождя подстрочник
читая по смелым лужам
чужих, и стеклянных, и наглых
глаз —

зонтик. Остался опять.
Один. Да ничего, и скрипящий диван, и чай —
и ноги задрать, как тени, до потолка —
низко, но мне даже наплевать, что позавчера

ты...
Да всё это суета. Книжная полка, альбом, Матисс,
листать. Серо-зелёные листья растения —
давно пыльные. Раньше ты их протирала

тряпкой, каждый божий день,
а я всё следил,
чтоб ты не хватала тряпку, которая в растворителе..
Не уследил. Всё растворилось.

Иди сюда, кошка.
Иди-иди, урчащий меховой комок (как кофе!)
с ясно-сапфирным взглядом. Ты, правда, опять некормленая...
а еды всё равно нет. Да и ладно; не хочется.

* * *(**мишель**)

Она — девочка, лет за тридцать,
тонкие ноги, карамельные пальчики,
неумело ест, затягиваясь сигаретой
(подражая какой-то актрисе). Таких двуногих

редко сюда приводят;

я бы видел... Похожие на ракообразных без панциря:
чуть тронешь — и уже нежное, сладкое мясо...
Такие падчерицы —
высшего класса.

И после, потом, в темноте, после недоеденного шоколада
и коньяка, фольга, когда осторожно касаешься щеки,
и она в ответ... Около соска, и вечный холод в рёбрах, нет, нет, не надо...

как-нибудь потом, нет, не звони, пока.

* * *(**мишель. *оттуда***)

— *эй, ты глянь, какая отличная штука!..*

(сплетённый из проводов)

и вытянутые вперёд руки
и голову не поднять
и замахивается, и...

..не напоминай
об этом давай ты лучше нарисуешь лошадь
рыжую как удар протяжённую как нота «соль»
вытянутую как удовольствие

резво вылившуюся в бумагу
чистокровную в унисон
акварельных 40-х двадцатого века
всеми ружьями побега
в никуда три раза по двадцать лет спустя
и вот ты здесь

три раза по двадцать лет спустя
и дверь распахивается с пинка

— *олухи, он же у вас загнётся.*

у него, наверное, ледяные глаза
подходит сейчас, возьмёт за подбородок

(кисточка соскальзывает в соль-бемоль)

перед глазами медленно ускакивает в никуда
рыжая как звук долгая тонкая лошадь

* * *(**мишель**)

Я — сегодня в ударе
синие геометрические фигуры
лица и лоск: приятный, значит, слепящий свет,

— картины, круги,
блестяще натёртый паркет

какой блестящий паркет

и я на паркете как птица со спицами крыльев в свитере
умело по свету — скользя, не падая

...а под ним, как под чёрной водой

* * *(**мишель**)

...А ходит — так не улыбается,
всё скалится, как кошкин дом.
О красных женщин ушибается,
латает небо ярким под дождём,

как рыба, за стеклом мансарды
пуская пузырьки, мотает время на виски.
Не злой, а просто авангардный,
от жизни спасшийся в холсты.

Не зряшный, с длинными конфетами
и с серебром на кошельке,
с растрёпанными злыми неофитами
играя сухонькой рукой,

всё в глубине
                поёт, поёт чарующе —
как серенаду под окном:
в моей душе — сидит чудовище,
а ключик — вот он у меня!

* * *(**мишель бернар; почти роман в стихах**)

..Родиться
21-го года двадцатого века
в каком-то тихом предместье Парижа,
довольно-таки захолустном:
то ли маленький городок, то ли большая деревня —
лужа на главной площади, крахмальные занавески в окнах,
общественное мнение и церковь
постройки семнадцатого века, которой очень гордятся.
Проумирать со скуки в родительском доме до шестнадцати лет
(папа — картограф, мама — домохозяйка),
ненавидя старшую сестру, обожая старенькую учительницу музыки
(по лужам, в сапогах, с нотной папкой под мышкой;
а там — кружевная салфетка на пианино и обязательно после урока
— чай с цукатами);
после, лишь появилась возможность — с превеликой радостью сбежать
в Париж: учиться и покорять мир тонкостенных кофейных чашечек,
мокрых вечерних фонарей и бульваров,
львов и грампластинок.
Жить отдельно (деньги присылают родители:
хорошая маленькая квартирка — пунцовые обои, просторная ванная,
рояль), сразу начать курить, чтобы выглядеть старше.
Ну и, конечно, волосы подлинней (чтоб не слишком курчавились) и
артистическая лёгкая небритость — нам семнадцать, мы уже всё можем!
Поступить в консерваторию и учиться легко —
просыпая одну лекцию из трёх (утром?.. да что вы, да никуда),
зато неплохо подружившись с фортепиано:
в солнечном классе пылинки, рассыпчатые брызги Баха — руки летают
как бабочки, ре-мажор, весна, полёт! По вечерам
играть в самодеятельном, весьма недурном, впрочем, джаз-банде —
лишние деньги, опять же, и, главное, много восхищённых взглядов,
ром к кофе,
шумная заполночь, — на гитаре,
поглаживая любовно длинными пальцами гулкую деку, победно
улыбаясь. Любить своевольную девушку на пару лет старше себя
(если мы... она обязательно сверху, а я что — я не против),
упрямо сдувающую чёлку с глаз: знакомство началось с ссоры,
как часто бывает в подобных случаях. Через неё
завести знакомство сначала с художниками, а потом... 41-й год, много
недовольных людей, горящие глаза: *маки́*.

Выглядывать из-за угла, одним глазом, как кошка:
надутый немец в чёрной форме командует — (слов непонятно,
усы топорщатся), —
осторожненько, на цыпочках, отходить,
вымазав шарф в штукатурке: тяжёлая сумка с листовками.
Ну и к тому же — родительские деньги: они всегда всем нужны.
Тем более, что даже хватает потом на еду (на дешёвое вино —
во всяком случае).
Дрожать от предчувствия,
от опасности, от холода, от бессонной ночи, от адреналина, от
детской радости поиграть в войну, нагадить по мелочи —
чужим, властям, *взрослым*. Шалость удалась! Нервно
разговаривая в кофейне слишком, пожалуй, громко *о наших делах*,
краем глаза заметить кого-то выходящего,
перепугаться, промолчать,
ничего не сказать своим. Открыть дверь
на требовательный звонок ближе к концу декабря
и в первую секунду не поверить, во вторую — бежать поздно
(и четвёртый этаж). Попасть под раздачу
вполне стандартно (электрошок, продезинфицированные иголки,
вправленное пинком плечо —
что-нибудь ещё?..), щуриться на лампу,
плакать, молчать. После
угрозы любимой женщине — не выдержать,
рассказать кое-что по мелочам (они же, они!..), после —
выйти почти на свободу — связанным по рукам и ногам:
профессионализм следователя.
(Бледно-рыжий и щуплый герр Райнер, совсем
не страшный — бледно улыбается, рассказывает о себе, даже
показывал фотографию своей жены и детей: только глотка
сжимается, не вздохнуть) —
вы что же, думаете,
мы не знаем о происхождении ваших родителей, будьте же
благоразумны. И выполнить пару каких-то поручений
(приходишь домой, а из окон рушится май, как разбитое зеркало —
и себя не видишь), но
под конец, когда уже почти навёл, понять, что нельзя...
(да тебе всё равно уже).
Застрелить полицейских собак, прикрыть отход своим, да просто
растеряться (но они
успели убежать, успели!). За это

положить под тяжёлый приклад музыкальные кисти рук —
громкий хруст и бледное
бешенство следователя: его можно понять. Почти
дождаться расстрельного летнего утра, но —
август, уличные сражения, в Париж входит танковая дивизия Леклерка;
так внезапно — не умереть.
Лёжа
у открытого окна в больничной постели, слушать по старому
радиоприёмнику
победную музыку: лёгкий вечерний ветер гладит
по щекам. Ты плачешь?..
Шум
большого города, и друзья простили, начать — обыкновенная жизнь,
широкая, как поля под солнцем до горизонта, бесконечная:
жениться
на любимой женщине, упрямо вскидывающей чёлку. Долго
лечить руки; поставить крест на музыке, увлечься живописью.
Стать неплохим искусствоведом.
Весенние утра, хрустящая тёплая булка, пронзительно-светло —
вот только по ночам, по прозрачным текучим ночам — проще
не ложиться, сидеть, прикуривая дрожащими руками
(ржавые струны, бледные пальцы, на кончиках... битый кафель,
яркие лампы).
С треском
развестись с любимой женщиной (любит, но не понимает;
к тому же хочет ребёнка, а ты — нет, тебе и так — *странно*).
Жить от романа
к роману, от вины — к вину (там ещё был коньяк? ничего не помню),
и к осени —
от утра. Писать обзоры выставок, говорить, возбуждённо ходить,
улыбаясь, взмахивать руками
(такие тёплые глаза), или лежать целыми сутками,
не выходя никуда, просто не можешь заставить себя выйти, курить,
смотреть в потолок задумчиво. Где-то
там умерли родители, даже не приехать. Разойтись
с очередной женщиной, завести сиамскую кошку и гладить. Сегодня
тебе нечего есть,
через месяц ты — покупаешь машину.
Дела пошли на лад, а в мансарде всё равно было пыльно.
Искать
себя и находить вместо себя чужие прикосновения, сатанея

от одиночества, помня о прикосновениях чужих, улыбаться,
улыбаться. Улыбаться. Разучиться любить
женщин, научиться бояться осколков
таких легкобьющихся отношений (отползаешь каждый раз —
по битому стеклу
ненужных писем, ненавидишь себя за себя, за неё: ведь хотел -
доверия, а получил — удар ножа влажных чужих глаз,
неотвратимо хлопнувшую дверь). Связаться
с каким-то тощим лохматым (начинающий художник!)
мальчишкой намного младше себя, дежурно ненавидеть себя,
но улыбаться — самодовольно (в твоей руке — электрошокер,
в чужих ресницах — липкий
страх, ты хочешь сам попробовать? Узнать, как это бывает?..).
Властная рука в чьих-то вихрах — так не расплатиться по чужим
счетам, но ты продолжаешь пытаться. Восторженные глаза.
Он будет не последним.
Жить — всё сумрачней и богаче, снисходительно платить
за чужие мечты и заставлять расплачиваться
в спальне. Тебе нужно не это.
А что тебе нужно?
Плохо, плохо понимать себя. Пить уже регулярно
(всё равно). Закрывать ставни, пытаясь спрятаться, бояться темноты,
курить гашиш (сладкий запах: забыться, но ещё страшнее
водоворот-мир, как воронка
из ванны, вытягивает, крутясь, всё твоё из тебя).
В пристальной подворотне
искать ключи и не находить. Как мне вернуться домой?..
Возвращаться
полупьяным, под кайфом, шатаясь — но всё ещё приличная одежда,
серое пальто, ещё умеешь за собой следить. Яркие огни:
поздняя машина, взвизг тормозов.
Скользкая мостовая.

Восьмидесятые годы. Конец уже.

...Сидеть
в начале двадцать первого века,
недоумевая.
Вспоминать.
Стыдиться.

Записывать.

* * *(**мишель. вместо эпилога: эпоха**)

Ах, как мы танцевали тогда, как мы танцевали, как мы умели —
тогда, когда были города, похожие на реки,
и реки, похожие на города,
и всё крутилось, блестело, торопилось, неловко на ноги наступало и пело,

и были плотины, кофейные чашки, Ван Гог в музеях,
машины брызг и смешные мягкие кепки

носили. Как мы умели тогда говорить, как говорили —
в вечерах, как в огне, как в быту, как в толпе,
расхаживая по комнате, волосы взъерошив, возбуждённо размахивая
недокуренными сигаретами, ругаясь. Но никто не обжигался,

и звёздочками тугих клаксонов зажигался

вечер, как кино или смерть. А как мы влюблялись —
в дольку лимона и хрипотцы, а, да, ну быстрей же, быстрей,
до тёмных улиц, до набережных касания языком кожи
как удивительной и смешной тайны,

до натянутой, как шарф на ветру, томительной и сердитой
нежности целого вечера неразделённого,

целого, как огромное хрустальное блюдо
с мелкими орнаментами собак на поводках, голубей, Сены.

А как мы играли — солнечный шуршащий пакет
Консерватории, и из него бабочками возбуждённо
вылетают запахи круглых, горячих, как мелкие булочки, нот
и сахарно-раскатистая пудра приветствий

из окон — как бумажные самолётики, имена. Привет, Серж, Реналь!
Где вы пропадали?
Профессор вас искал, не доискался!

А как мы гуляли,

а?.. По поздним аллеям, где метёт какими-то цветами,
на которые у меня аллергия, кстати.
Когда мы встречались, захлёбываясь новостями,
небесный ловец расставлял, наверное, сети,

чтобы — не дай добрый Бог, — не полетели бы в пропасть.
И как, рот рукой прикрывая сурово, тревожно,
осторожно — смотрели друг другу в глаза, эпохе, как
в нарождающееся утро.

И варили, как утром, кофе.
А ты теперь даже не знаешь, что так — вот так — можно...

Но ничего, я тебя научу.

ОПАСНЫЕ ГОРОДА

* * *

а мы теперь идём в макдональдс
есть хруст и золотую вкусную картошку
и обглоданные ступеньки, и ветер канала.
что искренней смерти? да только вот эта твоя рука на моём колене,
да звёздочки карандашной заточки.
и моя рука на твоём плече и на подбородке.

ну вот зачем нам идеология, скажи мне?
да только бегать с листовками, и кричать, и смеяться.
мы сделаем этот мир хорошим,
как вечер с изумительными неба вставками
и ветер, который медь антенную за щекой полощет.

мы ведь герои, не правда ли?..
и все цвета мороженого и флага придуманы нами,
чтобы полдень играл в солнечной комнате на рояле:
и у него вьющийся хайр.

мы пережили эту зиму,
мы пережили ледоход.
идём по улице, бессмертны.
и как приедешь — позвони.

* * *(**пейзаж с сестрорецком**)

там: Сестрорецк и руки реки — ленты
магнитофонные
дорог шоссе
миров
у ног дверей.

и реки сёстры
под пыль дождя — за руки
приморское шоссе.

такие вот приморские высотки
катана вертолёт
и влага капли на стекле дождя
автобуса и загородной высохшей травы

в загонах стареньких дворов скамеек

и горок
потускневших перед дождём дворов
пригорков в боярышниках и невысохшем белье

чужие дальние планеты города
котята
звуки

проносящихся маршруток

ушедших в сосны ели рельсы ржавые
и старенькие домики в резных
наличниках как байковых платочках городов

чужих резных знакомых
недостроенных

морских и ломких на просвет как галечный песок

таких вот городов как сумерки и хлыст
монокль
и война

и влага

* * *(**момент**)

И так гасят тело — плевком или нежно, но как свечу.
Уже всё?..

Рубцевать будто шёлк набивной ниоткуда чудесно взявшиеся следы.

Нет, пожалуйста, нет, не надо!!... Я не хочу...

А кому-то вон в том углу — очень смешно.

И от этого вдруг, заворачиваясь в обиду как в плед,
уходишь, кружась и чернея, будто в воронку — вода,

в те места, где сиренью пропахли ножи, сворачиваясь в ветер.
И видишь там себя с орденом на лацкане,
или умершего кота своего, или Бога, ласкающегося к ногам.

И от этого чистым ложишься в руку его, как скальпель,
и весь синий, сухой как птица, летишь назад — как на зов.

Где мелом стынет на скользкой доске момент.

И аккуратно приоткрываешь снова в тускло глаза.

— ...Вы будете говорить?
— Нет...

* * *(**инструменты**)

инструменты
здесь выращивают инструменты
скрипки, клещи
щипчики и гобои
швейные иглы

и другое многое

по хорошо распланированному плану:
разряд, международный конкурс, квалификация

их согревают теплом своего тела лампы
дневного света
поливают мочой
инструменты растут дружно
а взгляды-веточки в сторону обрубают сразу же
ненужное обтачивают рашпилем
(как, бывает, опиливают зубы)
но не очень тщательно
тщательно они полируются сами
об дело

каждый инструмент сразу же находит себе дело
или не находит, и тогда его выбрасывают, он погибает
поскольку не на месте он бесполезен
чётко знать всегда своё место —
таковой основной закон инструмента

и, в общем-то, они хорошие:
сложные и удивительные, по крайней мере
особенно которые пока ещё незнакомые

ненавижу, ненавижу, ненавижу, — говорит м., — *тоталитарные общества*

инструменты подступают, стучат
поклацывают клапанами затворов

инструменты для любви и полёта
для игры или боли
инструменты для извлекания звука
для выпекания хлеба
для вырывания скверны
для высаживания розы

бессловесные
безглазые
невинные

всего только лишь инструменты

* * *(**про виктора хару**)

Засыпал под песни Виктора Хары.
Это, если кто не знает, такой чувак, которого
в 73-м году
(19-, прошу заметить, -73-м!),
когда к власти пришла очередная фашня — с Пиночетом во главе,
в Чили дело было, — расстреляли на стадионе,
куда согнали всех неугодных. Расстреляли за песни,
за народные песни, вообще за всё народное: за народную партию,
за коммунизм, за борьбу за судьбы народа
и всё такое прочее. А перед этим
несколько дней избивали, конечно, ломали ему руки.
Это такая привычная, привычная уже, родная мифологема:
знакомая. До дрожи в паху знакомая,
до ознобного просыпания ночью, до — от друзей, — «береги руки».
Да мне-то что их беречь, я — не коммунист...
И вот Виктор Хара мёртвый. Совсем мёртвый, давно уже.
А песни-то — живые.

Нет, вы не поняли: не «Ленин жил...» и так далее.
Просто — сейчас живые. Вообще живые!
Вот здесь и сейчас, пахнут мелкими сухими цветочками, просятся
на руки,
как большие котята.
Я об этом, собственно, и хотел рассказать.

Что, когда слышишь, как-то пофиг, что он умер.
Даже пофиг, как именно. То есть вообще не веришь. Поскольку
они свежие как табак или надрез на лимонной корке,
за кожу мелкой схватывают, шёлково-молочной пылью
на в сумерках дороге, и Андами,
сонно прогнувшимися под копытами местной лохматой лошадки.
Так пьют обжигающий напиток,
и обнимают почти голую девушку,
и никуда — вообще никуда! — не торопятся,
даже жить. Потому что живее некуда уже, и всё
хорошо в этом мире — даже печаль зарастает миндалём. И вьётся,
как тяжёлый от дождя вьюнок, по чутким пальцам —
туманный большой септаккорд,

подребезгиванье старой гитарной струны.
В общем, песни — ан-ти-то-та-ли-тар-ны-е — ну совершенно!
Понятно, за что расстреляли.
Одну такую послушаешь и в жизнь не захочешь шагать строем
чугунных ног
многоголового дракона.

Но главное — это, конечно, голос. Такие, знаете, южные тенора —
энциклопедия беззаботности, чудесный лес
с затерянной тропинкой, разбитые часы,
потерянное время. И тёплый,
и мир уносит на подносе — прямо как мате.
И можно пить: такая шелковистая вода,
доверчивая жажда родников,
полынный вечер.

Да, сказал один мой друг, послушав, я так и думал:
кого угодно так убивать не будут —
так убивают только что-то
по-настоящему красивое.

И вот под них я засыпал.
Вообще-то спать не собирался, конечно: просто поставил
слушать... а сам заснул, почти.
Просто устал, или чего.
И стало мне так странно и так дзенно: как
когда апрель наконец настаёт, или видишь, скажем
в фильме про животных неподвижно лежащего
убитого зверя.
Так светло и с привкусом чая с обрезками травинок.
Так хорошо.

И так неумирабельно. И я подумал:
вот. Просто надо построить свой мелкий
локальный рай, большой вглубь, как все истинные миры,
марсианских яблонь насадить, лютиков и черёмухи
и горы сделать, и море.
И поселить там всех тех, кто ничуть даже не умер.
Я ещё не знаю точно всех,
кого бы мне хотелось там видеть — так,

чтобы уже не сомневаться, чтоб наверняка, но некоторых —
точно знаю. Там будет обязательно
в хорошую, летучую погоду пилотировать
свой самолёт Сент-Экз — над всеми
садами со сливами под дождём, над полями люцерны. Там будет,
думаю, бродить в холмах эльфийский лорд Финрод,
смешной, растрёпанный, с арфой под мышкой. И будет, на нагретом
камне сидя где-нибудь в предгорьях
среди сухой травы и неба, слегка
подёрнутого вечером, наигрывать на пропылённой гитаре
Виктор Хара
и солнечно зубами улыбаться.

Поскольку они ведь все нифига не умерли,
не умерли!
А просто прикидываются
для смеху.

* * *(**опасные города**)

Опасные города. Это опасные города.

Такие, где никогда не получается распустить живот.
Там, где, подкрадываясь, живёт
с монтировкой чудо,

и, клычками пара посвёркивая, вода
под замшелыми мостовыми тлеет.

Прожектора ПВО чертят в воздухе
целый мир. Зелёным на чёрном, над
стадионами и концертными залами, над провалами век.

Прикнопливают к мокрым доскам вечера объявление:

безумных и лазерных дискотек
что нет, нифига, и не кончен звук.

Взвесь водная, и города русалочьим хлыстом
к простому и акварельному яблоку дня тянувшегося

бьют по пальцам. Говорят: нет, не так; возьми гранат:
гранат — это сердце, расколотое сердце
с мелкими зёрнышками булавок
всех мемориальных дат,

ящичков, курящихся благовоний, урн,
исколовшее пальцы.
Всё запротоколировано как нигде, ты не думай, всё кривляется и горит.

И все горят.

Я убит под Сталинградом
и закопан живьём.
Я иду и ем мороженое, взмахивая чёрным лисьим хвостом,

и лапшу удон.

Я — лётчик, и руки мои примерзают к штурвалу,
и мир кувыркается, но никто не бежит за корвалолом.
Или, может быть, скрипач, заполнен горячим варом по плечи

добрых пальцев, дно года — расплавленное олово —

дно. Я — всплеск, невпопад, Кон-Тики;
когда умру, именем моим начнут называть книги.

Я зачерпываю пригоршню мигрени и швыряю об стенку.
Глухо стукаюсь лбом и мычу: отпусти. Отпусти.
На стене — без глаз вижу, — расплывается красное пятно,

и радиоактивный Стикс вступает в свои права.
Берёт приятельски так за плечи
и говорит: от того, что ты свалишься, конвейер не остановится,

и на пулемёте не вырастет травка,
хоть он и улыбается,

ну, давай же, повернись, посмотри, как он улыбается!..
Сейчас вылетит птичка.

..А я режу мелкими дольками клубнику,
режу и улыбаюсь отчаянно вечеру как себе:

что нет, и не было никакого гестапо,
в мире вообще есть только клубника с мороженым.

И аккуратно ем.
Согласно, но как-то несколько настороженно
из окна на меня смотрят руины

недостроенного напротив дома.

Опасные города. Как всё знакомо.

* * *(**себе**)

Да нет, не ненависть, какое презрение, что ты,
просто зависть.

Но будь проще. Видишь, колеблется черёмухи локтевая завязь,
локтевой сгиб.

Да ветер накрапывает, в бездонные чашки форточек завернувшись.

Будешь ещё пустым, будто песок,
и нет вокруг никого, только банка жестяная, целое озеро.

И будешь и лёгок и чист,
как каменный леденец.

И по мальтийской компьютерной клавиатуре пройдёшь,
не притронувшись.

(Типографские острые шпили,
и ветер шуршит пакетом.)

И где слова замёрзшим пасмурным молоком
крошатся в электронном дыхании,

поблёскивают

между сном и растушёвкой, пятое измерение.

Вот там, в растянутом свитере, в вороха бумаг.

Где ты — скорее пристальная тонкость
от дождевого неподвижного сиянья,

незнакомый.

(Пойманный момент
в выключенном теле монитора.)

И будешь ещё чуть солоноватую музыку

кумранских свитков древних 80-х годов
проходить

по вечеру,

как голубь, фотография, ничей.

(Ветер шуршит пакетом.)

Отложив на край стола
глухо звякнувшие стихи, тяжёлые, как плоскогубцы.

* * *

во дворе

синица
орёт-разрывается
(как будто бы пилит что-то стеклянное)

в открытую форточку
не уснуть
это значит, пришла весна
в эту форточку

заходят
лиловеющие рассветные окна

дальних домов

смущённо топчутся на пороге

следом вламывается весь мир
большой, как вода, подбегающая под подбородок

как иномирное одеяло
старшей эдды

(и ты как будто с ножницами над ним
весь в нитках и лоскутках)

достоинства весеннего воздуха —
пустота и гул
как в полом корпусе рояля

с нажатой правой педалью...

ты растворяешься в синице
и резонируешь

а потом — исполнительски-точно вымеряв время —
отпускаешь педаль
(падают демпферы)

—

сердито наваливаешь на ухо подушку

* * *

Мне дорог ветер истории.

Наверное, дороже,
чем осторожные нейлоновые следочки
частных переживаний,

оборванных, как телефонные провода.

Но в эту историю
я смотрю —
как из угла или из-под табуретки, —

влажными слюдянистыми глазами
только живых людей.

(Умерших живых людей.)

* * *(**рядовой**)

— рядовой Иванов, о чём вы думаете, глядя на знамя?
(из анекдота)

...о вечности, товарищ майор.
Я всегда о ней думаю.

И когда вы, товарищ майор, били меня в детском доме
скалкой по лицу, я тоже думал о вечности.

И когда, товарищ майор, вы меня переехали собаками в 44-ом, в дыму,
а потом на большой перемене долго издевались,
и отобрали завтрак, и смыли его в унитаз —
я тогда опять думал о вечности;

и когда потом, товарищ майор, вы мне кричали:
«Мудак, ничтожество! Я потратила на тебя лучшую часть
своей жизни, а ты так ничего и не добился,
но с меня хватит», — я тоже о ней думал...

И даже сейчас, когда смотрю на эту дурацкую вылинявшую тряпку,
что треплется в прозрачной воде воздуха января,
будто старые портянки,
я, как это ни удивительно, тоже думаю о ней,

хоть и не чувствую уже своих пальцев ног...

Просто люблю я её, товарищ майор, люблю, вот и весь сказ.
Поэтому и отвечаю вам сейчас честно, товарищ майор, я-то вас давно
уже не боюсь,
а вы и не заметили?..

И потому же, кстати, хочу предложить вам, товарищ майор,
такую неожиданную штуку:
а давайте вместе о ней подумаем?

Вдруг — ну а вдруг — вы тоже её полюбите?..

* * *(**испанская сюита**)

О, где-то затерянное селенье в моей Андалусии слёзной...
Федерико Гарсиа Лорка

..и капает, каплет пламенем свеч
слюна в песок
из-под языка.

капает, капает с бычьих рогов
кровь.

тягучая, будто чёрный говор флейты бамбуковой
в полусумерках хижин, и кровель,
субботы.

как время.
как серый аккорд окна.

..Испания, бог мой и бубен,
ветер с песком
в веер взметаешь.

где ломит зубы плеск и колодезный ворот гру́дей —
змеёй сердитой звучишь с металлом

в ноже сердитом, в ноже усталом:

выкидывается, как горячее слово.

..Альгамбра, всего лишь дыханье фонтанов-столетий
в ажурные косы Альгамбры ушедших столетий;
и музыка, красивая до костей:
сефарды, виола да гамба.

да руки, случайно изрезанные до костей —
провалами в солнечный свет.

за взмыленный повод
ухвачено время, шарахнувшись, косящее смо́листым глазом

на запад; за стремя из дыма хватаюсь, влезая
в скрипучие сёдла захваченных в полдень,

ушедших в канавы и дольки
лимона — зрачками оливок-столетий.

и Андалусия, старая мать: долгим вином
масличной холодной равнины, зимой и дорогами..
о, моя сырная, моя стальная луна —
Испания, облизанная как лезвие.

где рокот копыт как зелёное море,
скрипевший корабль и море, вы помните, гранды?..
похороненное, словно сыр и слеза, в потёках густой, будто воск
свечной,
сарабанды.

и где в пустой комнате дождь,
ароматный, как женские коричневые соски,
наполняет тазы,
под проваленной подставленные крышей..

и где тоска,
как колыбельные песни лягушками,
мирт и колокола —

призывает дуэнде, чёрного, как апрель-
осокорь:

веселить будто крёстный ход. кричать, будто флюгер,

выше.

* * *(**ночное**)

вытряхнутой из мешка крысой
вываливаюсь из сна осоловело,
шлёпаясь на бесцветный паркет ночи.

из-за тонкой марли окна как вечно гудят пространства.
с зябликами и дождём.

но откуда-то плохо.

как Сатурн — кольца свои к себе, подтягивая к животу колени,
выясняю:
а, ну да, по Украине, по Львову
марширует какая-то галичинская дивизия СС
(так говорили в новостях).

или, может быть, дело в том,
как мы смотрели в залив и говорили о вечной войне,
где морское дно соприкасается с горизонтом.

тихо, как птицы, касаясь волос языком.

марсианские воины, воины иттов,
прямые, как пламя в колбе, держатся в высоких сёдлах

с высока тонконогих пылящих своих коней
посматривая искоса

на лежащего искоса на песке,
ставшего телом водопроводной трубы.

сжимай в ладони свой йхоло,
холотропной вселенной юбилейную монетку, подъязычно, как камешек,
помогающий говорить,

ибо горрр, птица ловчая, поселился в горрртани.

и вибрирует, слышишь, булькает, как вода в рёбрах стальных
в самый бесконечный остановившийся час,
когда дворники не начали ещё подметать,

ибо всем им ещё играть в тёмной ночи, как в сумерках после *бездника*,
где никого не видно, вызывая духов гиммлера,

стуча по батарее.

* * *(**без границ**)

Безграничное лето

на старых трамвайных путях,

уходящих в траву, в полувысохшие колоски
ветра
без мыслей. Оборванные провода,

колокольчики бликов.

Где-то там — Кондратьевский рынок, где живут и светят зверушки
черничным вареньем глаз,
боками торопливо подёргивая воздух горячий.

..Где-то — Крестовский остров,
где колонны
вырастают из мятлика и врастают в него;

где в небо неторопливо
с тихим шелестом осыпаются секунды-семена,
не становясь временем.

Где-то там, на Старой Деревне,
по прямой — тибетский Дацан,
обвешанный ленточками с тишиной.

..Где-то на Чёрной Речке —
безвременья-тюля на сквозняке —
хоть ложкой ешь из чашечки яблоневого цветка.

Где-то там... Одуванчики — встают, встанут стеной
между прошлым всегда и будущим,

пачкая
настоящего огненно-жёлтым
покрывало, поверхность сомкнутых век.

Безграничное лето — непонятная, будто ржавая гайка, находка.

Безграничное лето —
прячет следы под тополиный снег.

* * *(**из одуванчиков**)

..А потом крыса слопала одуванчик, и ей понравилось.

И она стала носиться по лужайке и лопать все одуванчики.

Я ей говорю: слушай, а тебе плохо не будет?

А она говорит: не! не будет.

(А пузик живой-живой: мягкий и дышит.)

Я же, говорит, хочу впрок наесться.
Я же, говорит, съем все-все одуванчики этого лета.

И ржавую баржу в потаённых худых локтях залива,
в старой речке, где треплются с ветром
солнце, мусор и молодые берёзки;

и стёкла в окнах высоток
из жидкого света,

и пыль, задохнувшуюся от восторга —
пятнистой черешни у рынка.

И всякие хриплые песни из решёток радио,
погружённые вечером в проявитель жары:
потому что они все, в сущности, о любви,
хоть и коряво.

Но самое главное — вот эти жёлтые, сумасшедшие, яркие цветы;

чтоб досыта, до ночи, до зимы...

Мне ж, в сущности, главное, говорит
— это вовремя наесться света.

* * *(**<u>экзамен для сверхчеловека</u>**)

Поцелуй в глаза свою смерть...
Ольга Арефьева

Где-то читал — был такой экзамен
у эсэсовцев:

застрелить любимую,
собственноручно воспитанную собаку
на глазах у комиссии.

Можно представить в лицах:

как на тебя глядится большелапый
подросток

немецкой овчарки —
поджарый молодой пёс с доверчивым
взглядом младшего школьного друга.

Ты приказываешь: «Сидеть»
и отходишь на десять
шагов.

Взводишь курок.

(Пожилые люди в форме внимательно смотрят.)

А пёс
вытянувшись в струнку, сидит,
даже хвостом по полу изо всех сил старается не стучать
(хорошо воспитан), и только
чёрной верхней губой восторженно лыбится.

И ты
сужаешь глаза до божественной чистоты,
до ветра божественного сужаешь глаза,
возвышаясь до горних высот
себя,

и тонкий, тяжёлый внутри, как нож,
уверенно целишься. Вот
только сквозь какую-то странную дымку
на роговице.

Смаргиваешь.

И ещё
пару ударов сердца переминаешь ребристую
рукоятку в мгновенно вспотевших секундах-ладонях.

А потом

спокойно поворачиваешься к комиссии
и раздельно произносишь:
«Да пошёл ты нахуй, товарищ начальник»

Швыряешь пистолет, пса в охапку, и — дёру...

Потом, конечно, кончишь в ближайшем подвале
на Принцальбрехтштрассе
быстро и плохо,
с резким выдохом...

...но много ли для счастья надо
настоящему сверхчеловеку?

* * *(**<u>и снова — память</u>**)

Душа моя, печальница...
Борис Пастернак

Мне откроют, но сперва не поверят,
что такое могло приключиться.
Константин Арбенин

...Дни идут;

и по-прежнему в написанье стиха самое б*о*льное —
объяснить им — всем тем, — что ты тоже из них. Что там же родился,
где они, и всё помнишь и знаешь, как... Это — как стакан черёмухи,
в глотку пригоршней ледяной воды,

поперхнувшись, просто —
такая любовь.

Как мне объяснить, а, главное, — кому объяснять,
что я помню Петербург, 14-й от девятисотых год, кабаре, кабаки,
собак, извозчиков. И все эти лица — круги по воде по весне,
что потом застынут кусачими звёздами на фотографиях,

которые вертит в руках следователь ЧК.
И печка с изразцами, сохнущие сапоги,
что-то из самого далёкого детства, из беспомощного чьего-то сна —
чердак в Париже для эмигранта, милые мои, беспомощные —
Арлекин с Коломбиной.

Где-то выстрелили. И ты был в этом где-то.
Где-то был крёстный ход. Пахло ладаном и замёрзшей водой,
и немытым телом, и как таскали дрова, обдирая руки...
ты не расскажешь про это,
ты-то здесь причём?.. И как шумела вода

на кухне, забытая матерью, когда — такое всегда почему-то случается
«вдруг», —
в дверь обстоятельно позвонили. Шёл тридцать какой-то там год,
а в Испании шумели оливы. И шмели садились на руки —
тебе, не тебе? Ты-то тут причём. Вырывается невпопад

из памяти: сияющие глаза, пластинка «Битлз», бессонный шумящий
Нью-Йорк,
где, когда?.. Нет ответа, Том Сойер, и пионерские книжки,
сношен сандалик лета до дырок;
позже — наступает прозрение, знаменующееся дурдомом на Пряжке.
Я знаю это поколение, Ленинград шестидесятых,
мороженое за двадцать копеек.

А ещё — как по пасмурной набережной
Сены заходили в бессмертие набожные и пошляки,
все, кому не лень, заходили — в бессмертие или в чуть сыроватую
сладковатую землю
(недавно прошли дожди).

Видишь ли, какая неудобная штука:
зачем-то я видел Мэйдзи сталь и первый неуклюжий трамвай
на булыжных мостовых Киото. Иероглифы, похожие на сверчков:
английский язык, бамбук и слива на станции Токкайдо,

полузанесённой снегом. А лютневые мавританские шпили Альгамбры
и, кажется, штурвал Спитфайра... впрочем, тут уже немного путается,
я не помню точно.
Выплывает кусками, как со старой магнитофонной плёнки:
звяканье, стук,
какие-то полузнакомые лица... а дальше ничего, обрыв,
шипение, пустота.

И только стоишь периодически, и звонко кусаешь пальцы
до белых-пребелых следов: потому что как объяснить... к чёрту!
ехать сейчас же, не раздумывая, покупать билет... Только ты
не приедешь обратно,
потому что, во-первых, — некуда. (Уже всё.)

А, во-вторых, — тебя там никто не ждёт, там тебя и не знают.

..Где-то, где давно проигрались чаплинские фильмы,
и плёнка шипит, закончившись; пустой кинопроектор
в пространство транслирует свет и пыль. Как им сказать, что родные,
родные —

там, где чёрные тополя кастаньетами смыслов ловят и топят
в распахтанной речке ветер.

И стоишь, молчишь. Потому что как бы и не касается, не должно,
наверно, касаться —
чужое-то. Есть ли право как — о своём?..

..Хотя, если вдуматься,
в этом всём есть один несомненный плюс: куда бы ты ни поехал,
где бы ни довелось жить — ты же, счастливый, всегда и везде
будешь дома.

И навечно, везде и всегда — в эмиграции.

ЭПИЛОГ

* * *(**дышать**)

Кошачья горка
в лесотехническом парке.

И небо почти как бледное молоко.

Мне хочется тишины,
и тишина здесь пахнет укропом
в лесах и мокрых дотах,
среди луж парковых и старых бомбоубежищ

лежащих, в лощинах. Мне хочется тишины, и я становлюсь тишиной,
проходя в себя. И радужкой, и зрачком
объектива дождя, по глазному дну

ручейка. Так ящерицы, приникая, смачивают роговицу слюной,

и дерево засыпает в корнях.

Мне хочется покоя и безымянного великого Дао,
текучего как вода,

где-нибудь, где солнце заходит за непроснувшиеся ещё листья.

На старых кухнях, в запропахших сыростью деревянных подъездах
с негорящими каплями лампочек, и когда в каплю
вдруг собирается сидящее на плече -

птица с человеческим ликом,
и прираспускает когти.

И падаешь внезапно в перегной, в траву,
и становишься ветром.

..Я становлюсь гораздо спокойнее, когда в мире появляется наконец

что-либо зелёное.

СОДЕРЖАНИЕ

Горрр, птица ловчая (*В. Месяц*) 7

ПРОЛОГ
память 18

ИМЕНА ВЕТРА
«сколько имён у ветра...» 20
концерт hortus musicus 21
«Мои стихи становятся всё страшнее...» 22
«..и, если честно...» 23
золотоглазый 24
о доме 28
в будущее 30
полночный разговор 31
выход 32
говори 33
дежа вю 35
«Как в открытые окна, без хлеба...» 36
«стихотворение — такая огромная...» 37
«Впадай в счастливую зверюшку...» 38
«новый мир = пространство листа...» 39
работа в чёрном 40
«Чего это стоило...» 41
«...а ещё в них удивительно то...» 42

MICHEL BERNARD
(рукопись, найденная на виниловой пластинке: сторона 1)
«Серый рассвет...» 45
«С какого рога луны...» 46
персонаж 47
человеческое 49
фр., 43 51
фр., 42 52
фр., 41 53

дни-мы 54
два часа ночи 55
почему 56
работа в чёрном 57
музыка про баха 61
«Ты покупаешь мой счастливый билет...» 62
«..и поясница свернулась ржавой струной...» 63
«..но главное теперь — не дышать поглубже...» 64
«я — как настроенный инструмент...» 65
в ответ на вопрос 66
фр., 46 67
в городе 68
в городе. фр., 37 69
фр., 39 70
фр., 40 71
«оккупация ну как это — оккупация...» 72

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ВРЕМЯ

«остановка часов: это прерванный замкнутый круг...» 74
«В зимней квартире днём, потом вечером...» 75
ленинградское время 76
умные дневники 77
27-е января, вечер даты снятия блокады 78
«а я считаю, что новыми должны быть не слова...» 79
набросок 80

MICHEL BERNARD

(рукопись, найденная на виниловой пластинке: сторона 2)

«это так банально что даже больно...» 83
«..Не правда ли, здесь готовят замечательный...» 84
«Эта ночь, похожая на мольберт...» 86
25 августа 1944 88
фр., 47 89
«И здесь, где...» 90
«как лодка на волне...» 92
фр., 50 93
«розовый камень стен...» 94
одно воспоминание 95
«Мансарда и полусиамская кошка...» 96
«Она — девочка, лет за тридцать...» 97

оттуда 98
«Я — сегодня в ударе...» 99
«...А ходит — так не улыбается...» 100
мишель бернар; почти роман в стихах 101
вместо эпилога: эпоха 105

ОПАСНЫЕ ГОРОДА

«а мы теперь идём в макдональдс...» 108
пейзаж с сестрорецком 109
момент 110
инструменты 111
про виктора хару 113
опасные города 116
себе 118
«во дворе...» 120
«Мне дорог ветер истории...» 121
рядовой 122
испанская сюита 123
ночное 125
без границ 126
из одуванчиков 127
экзамен для сверхчеловека 128
и снова — память 130

ЭПИЛОГ

дышать 134

Алексей Афонин

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО

Стихотворения

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта *Вадим Месяц*

Главный редактор серии *Андрей Тавров*

«Русский Гулливер»
тел. +7 495 159-00-59
www.gulliverus.ru
russian_gulliver@mail.ru

По поводу покупки книг звонить:
+7 (905) 575 4103
Олег Асиновский

Подписано к печати 17.04.2010. Формат 140 × 200.
Бумага офсетная. Гарнитура LazurskiC.
Печать офсетная.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Cherry Pie»
112114, г, Москва, 2-й Кожевниковский пер.,12